Александр Валентинович Амфитеатров

Наука и магия в античном мире



Александр Амфитеатров

Наука и магия в античном мире

1907

Амфитеатров А. В.

Наука и магия в античном мире / А. В. Амфитеатров — «Public Domain», 1907

«Изучая историю древних цивилизаций, трудно не обратить внимания на важную и постоянную роль, какую играла в складе и быту их вера в чудесное и сверхъестественное. Культ чуда был общею основою всех античных религий. Хотя апостол Павел и определил с блестящею меткостью разницу между религиозным характером иудеев и язычников греко-римской культуры: иудеи чуда ищут, эллины мудрости, – но это сказано скорее о способе религиозного восприятия, чем о предмете его…»

Содержание

Александр Амфитеатров
Наука и магия в античном мире

1

Изучая историю древних цивилизаций, трудно не обратить внимания на важную и постоянную роль, какую играла в складе и быту их вера в чудесное и сверхъестественное. Культ чуда был общею основою всех античных религий. Хотя апостол Павел и определил с блестящею меткостью разницу между религиозным характером иудеев и язычников греко-римской культуры: иудеи чуда ищут, эллины мудрости, – но это сказано скорее о способе религиозного восприятия, чем о предмете его. Чудо было необходимо всем. Рим и Афины имели своих вольнодумцев, но сомнения даже самых смелых из них касались не принципа чудес, но лишь известных его практических приложений. Острый ум Лукиана проник в тайны обманных оракулов и жрецов – мистагогов; бич его сатиры не пощадил ни сказочного богословия, ни жертв, ни обрядов, ни самых богов неба, моря и ада; с гражданским мужеством, достойным глубокого уважения, разоблачил он фокусника-обманщика в живом полубоге, Александре из Абонотейха, и высмеял его поклонников, как доверчивых глупцов-суверов. Но общей возможности вмешательства сверхъестественной силы в дела земные, равно как вероятия для человека добыть секрет управления ею, не отрицал ни Лукиан, ни другой кто из дохристианских вольтерианцев. Мировоззрение древних было метафизическое; даже философские системы реальных начал, как атомизм Демокрита и вышедший из него эпикуреизм впадали в постоянные обмолвки, ясно доказательные, что утвердиться в чисто физическом созерцании природы не удавалось, а, может быть, и не хотелось ни их учителям, ни их ученикам. Отрицатель промысла, изобретатель каких-то, совершенно отчуждённых от мира и взаимно не нужных ему, беспричинно и бесцельно блаженных, богов, Эпикур, в результате своей атомистической проповеди, сам едва ли не был обожествляем благоговейными последователями. «Бог он был, только Бог мог говорить словами», восклицает о нём Лукреций. Таким образом, материалисту-метафизику античной древности пришлось стать как бы прообразом судьбы Огюста Конта, великого позитивиста прошлого века, финалом деятельности которого, разрушившей опоры стольких религий, оказалось возникновение во Франции новой религии, распространённой под именем «контизма». Материализм древних полон компромиссами метафор, уводящих мысль весьма далеко от поверочной работы над фактами в область чистого умозрения, на спекулятивные поиски божества, под псевдонимом какого бы «начала всех начал» оно себя ни являло. Абсолютного атеизма древность не знала. В эллинских общинах атеизмом звали монотеизм.

Слово «безбожник» значило не «отрицатель божества», но враг богов народного культа. В Риме, весьма внимательном и строгом в охране своей государственной религии, безбожием считался отказ от формального исполнения её невзыскательных обрядовых предписаний; так как обряды эти считались символом государственной связи и гражданской самозащиты, то уклонение от них признавалось враждебным вызовом народному союзу и вменялось в политическое преступление против основ и существования Рима. После же того, как Рим охватил своею благою властью почти весь, известный тогда и доступный цивилизации, мир, право его, гибкое в фикциях, соответственно расширило границы государственного блюстительства: неуважение к устоям Рима стало, пред сенатом и народом, символом злобы против благополучия целого мира; враги римского обряда объявлялись врагами всех римских народов, – вот почему формула обвинения их гласила о «ненависти к роду человеческому». Дальше политического суда над формальным, показным презрением к государственному культу римское правосудие никогда не шло: рыться в совести своих граждан, подвергать розыску религиозные

идеи, управляющие их мыслью, словом и частною жизнью, Рим считал недостойным себя, – по крайней мере, покуда он оставался Римом, покуда имена «Рим» и «мир» звучали синонимами.

«Религия состоит из жертв и гаданий», – определяет Цицерон. Триста лет спустя, Филострат не сумел вложить лучшего определения в уста своего возлюбленного пророка, Аполлония Тианского. «Что есть высшая мудрость?» – вопрошает его консул Телезин и получает ответ: «Это вдохновение свыше, наука о молитве и жертвоприношениях». Неустойчивость границ, полагаемых такими формулами между магией и религией, заметна по первому взгляду. Потому-то магия, гонимая ещё в законах двенадцати таблиц, и не вытеснялась никогда из государства, и последнее, когда ему приходилось стать судьёй какого-либо чудотворца, оказывалось очень зыбким в критерии, кто маг, кто не маг. Великий жрец Элевзинских таинств не пожелал принять Аполлония Тианского в сообщество мистерий, потому что считал его волшебником. Аполлоний ответил горьким словом, в том смысле, что – не зови колдуном всякого, кто знает больше тебя. Жрец сконфузился и начал сам приглашать Аполлония к таинствам. Пророк презрительно отказался. Тот же Аполлоний дважды был под судом по обвинению в занятиях магией, что не помешало ему умереть святым и сделаться богом императорской фамилии Северов. По-видимому, обвинение в магической деятельности было опасно лишь постольку, поскольку опыты её почитались угрожающими политическому строю государства или нарушали уголовный закон. В противном случае, не могли бы пользоваться покровительством государства такие доказанные и обличённые волхвы, как Александр Абонотейхот во II веке или Симон Гиттонский при Нероне. Римский культ был гостеприимен к чужим культам: легко впитывал в себя иноземных богов, их жречество, их мистерии, их чудеса. Римлянин не называл магом жреца Изиды за то, что тот претендовал на знание тайн, недоступных римской религии; ни жреца Митры – за то, что этот предполагался знающим ещё больше жреца Изиды. И, если приходил в Рим человек во всеоружии тайных знаний, больших, чем у всех ранее известных жрецов, то вечный город не почитал грешным или опасным и такого таинственного пришельца, но чтил в нём «великую силу Божию» и воздвигал ему статуи и храмы – под условием, чтобы «великая сила Божие» действовала достойно божественной благости, и ни сама она, ни кто иной её именем не оскорбляли римского закона. В противном случае, Рим распоряжался с преступным культом, с его жрецами и участниками быстро и круто, не стесняясь угрозами чудесных возмездий. Возможность политического заговора и уголовные неистовства в мистериях вакханалий повели в 186 году до Р. Х. к страшным репрессиям, поглотившим жизнь 7.000 жертв. За 58 лет до Р. Х. преступления египетских жрецов заставили сенат римский вотировать разрушение храмов Изиды и Сераписа. Боги оказались настолько чтимыми в Риме, что не нашлось рабочего – поднять руку на их святилище. Но гордый закон римский сумел не уступить чарам чужеземного суеверия: сам консул взял топор и вырубил храмовые двери. Иудеи пользовались благосклонностью Юлия Цезаря, Августа и, некоторое время, Тиберия. Но вот – обращённая в иудаизм, римская гражданка Фульвия попала в руки четырёх иудейских авантюристов, которые принялись её обирать. Немедленно все иудеи изгнаны из Рима, а четыре тысячи из их молодёжи отданы в войско и отправлены в опасную экспедицию против сардинских разбойников. Входит в моду собакоголовый египетский демон Анубис, из свиты Изиды, которую, сто лет спустя, Ювенал обозвал «фаросскою своднею». Культ терпится с обычною снисходительностью, – до тех пор, пока жрецы его не вздумали продать ласки одной из своих суеверной прихожанок богатому развратнику, явившемуся на свидание под псевдонимом и маскою Анубиса. Как скоро открылся этот бесстыдный обман, император Тиберий приказал храм Изиды разрушить, жрецов её распять на крестах и самый кумир богини утопить в Тибре. В сороковых годах первого века по Р. Х. случилось волнение в римской иудейской общине из-за «какого-то Хреста»: быть может, из-за прибытия в Рим первых христианских проповедников. До религиозных споров иудейских Риму не было никакого дела, но беспорядки и сходки спорщиков нарушали городское благочиние: иудеев опять выслали из столицы. Коротким сло-

вом, – повторяю: ни религиозных, ни философских гонений, – в средневековом и современном смысле этого слова, – Рим не знал. Его враждебные столкновения к культами и учениями возникали исключительно на почве политической и уголовной. Ни одна философская секта не была гонима, но стоическая потерпела ужасный разгром, когда замешалась в заговор Пизона, а, по реставрации партии порядка при Флавиях, правительство, в свою очередь, тоже высказалось против неё. Понтий Пилат – очень жалкий пример неудачного римского чиновника, образец гражданской трусости, не умеющей справиться с самовольными магнатами и их чернью. Однако, чтобы добиться даже и от него смертной казни Иисуса Христа, саддукейское духовенство должно было выставить обвинения не религиозного, но политического характера, изображая Спасителя притязателем и на царство иудейское, угрожая робкому прокуратору мнительностью старого принцепса Тиберия: «Не знаем царя кроме Кесаря!» Администратор, умнее Пилата, более энергичный и понимающий свои обязанности, – Юний Галлион, родной брат философа Сенеки, губернатор коринфский, – когда местные иудеи привели к нему апостола Павла, холодно объявил неподсудными себе споры о вере: представитель римского закона поставлен судить деяния, а не мнения. Позже, преследуемый и загнанный иудейским фанатизмом, апостол Павел последовательно оправдывается пред всеми римскими чиновниками, пред которыми ставят его к обвинению; он почти ищет у римлян прибежища и защиты от своих единоплеменников, и был бы отпущен римлянами свободным на все четыре стороны, если бы, к несчастью, сам не осложнил дела апелляцией в высшую инстанцию, – к суду цезаря, по силе которой он должен был отправиться в Рим, в качестве подследственного узника. И тут, в Риме, он встретил то же снисходительное к себе отношение, что и у римских властей иудейского наместничества. «Деяния знаменательно свидетельствуют, что подследственное состояние великого христианского Учителя не воспрепятствовало свободе его проповеди: в течение двух лет он „проповедовал о царствии Божием и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно“». То есть, отдав апостола под полицейский надзор, в ожидании суда цезарева, как подозреваемого преступника по международному праву, римское правительство, вместе с тем, было совершенно равнодушно к вопросу о новой религии, которую основал этот подследственный и поднадзорный иудей. А для того, чтобы оно обратило на Павла и на его паству своё враждебное внимание, нужно было множество неблагоприятных условий в самом роковом их стечении, поставившем юную христианскую общину под тяжесть клевет и обвинений уголовно-политических: пожар Рима, безумные капризы Нерона, ревнивые раздоры в самой христианско-иудейской общине, доносы Александра Медника и т. п. Наряду с этим, девятнадцатилетнюю знатную римлянку Сервилию казнили смертью только за то, что она осмелилась гадать об особе государя, и, вообще, сотни политических доносов возникали и развивались именно на почве колдовства. Итак, всё религиозное и философское, следовательно, даже и магическое, – потому что «магия есть практика метафизики», – терпелось и уважалось Римом, если не возбуждало опасений уголовных и политических. Но, как скоро обвинение могло опереться на уголовные факты или хотя бы подозрения о фактах, то не было святыни, которую римский закон почёл бы выше своих вечных гражданских прав и на которую он побоялся бы поднять карающую руку. Консул Долабелла разогнал войско, вооружённое рукою зачинщиков культа убитого Юлия Цезаря, консул Луций Павел врубается собственноручно в храм Изиды, святой Аполлоний Тианский призван к суду оправдываться в человеческом жертвоприношении, а благочестивый Апулей – в любовном очаровании, чрез магические средства, пожилой вдовы с большим приданым. При подобных условиях, граница в чудотворстве между святостью и магией определялась, стало быть, только легальностью чудес, согласием их с законодательством и нравами общества. Творящий чудо был любимым святым, покуда он приносил пользу или оставался безвредным, и обращался в ненавистного мага, по мере того, как чудеса его приносили случайный или преднамеренный вред. А, так как польза и вред суть понятия относительные, то, следовательно, критерий разграничения чуда от волшебства, религии от

магии, жреца от колдуна, сводился практически просто к сумме симпатий судебных и народных, зыбко обусловленных обстоятельствами случая, места, времени и священных традиций.

Формулы, заключающие существо религии в жертвы и гадания, опасны для общества своими необходимо широкими привилегиями, которые открывают они сословию, профессионально ведающему жертвы и гадания, – духовенству. Всякую иную нацию, менее положительную и трезвую рассудком, они привели бы к вековой теократии. Но практический гений римского народа застраховал свою историю от властного священства простым средством: способы производить и получать религиозные чудеса чрез молитвы, жертвы и гадания, в прозаической римской религии житейских богов-символов, – приписывались не замкнутой касте жрецов, но распространялись на все светские магистраты высшего порядка, покуда они находятся у своей должности, – в делах государственных, и на каждого свободного гражданина, в особенности же на отцов семейства, – во всём, что касается его частного обихода и домашнего очага. Римский жрец совсем не таинственный медиум, привилегированный посвящением на посредничество между людьми и божеством. Он только чиновник духовного ведомства, обязанный блюсти исконный устав религии нерушимо; указывать профанам, какие статьи закона этого, то есть такие молитвы и обряды к какому случаю прилагаются; и помогать выполнению статей в таком аккуратном и точном виде, чтобы, совершив всё предписанное, клиент божества мог потом считаться с ним, как с присутственным местом. Римляне имели свой свод законов по божеским делам: Indigitamenta, подробнейшие реестры богов, с обозначением подобающих им почестей, празднеств и возможных, ожидаемых от них услуг. Эти списки жрец должен был знать в совершенстве и уметь рекомендовать их параграфы к исполнению с искусством не только законника, но даже крючкотвора. Древнейшее сказание римской мифологии гласит о том, как ловко царь Нума обошёл Юпитера в договоре о человеческих жертвах, откупившись от них рыбою и головкою чеснока. При отчётливом знании и выполнении жрецом богослужебной формы, римляне не требовали даже, чтобы жрец веровал в бога, на службе при котором он числился, и в жреческом составе не диво было встретить открытого и прославленного вольнодумца. Боги в делах человеческих – предполагалось – считаются не с субъективною властью жреца-предстателя, но с объективными формулами и символикою обрядов. Верит или нет жрец, – это его личный счёт с богом, и, если бог им недоволен, то сам его и покарает. Для других же верующих и для государства – жрец, втайне безбожный, но безукоризненно твёрдый в уставе служб, считался полезнее искреннего, но слабого в законе, с дурною памятью, бедного каноническим соображением, способного ошибкою или обмолвкою испортить процесс о милости божества, который поручено ему вести смертным просителем. В последние два века, начиная с Вольтера и Бэйля, было сделано немало попыток установить параллели между языческим жречеством и христианским священством. Из всех жреческтв римское наименее поддаётся подобному сближению. Гораздо больше сходства имеет оно, если нужны современные параллели, с синодальным и консисторским блюстительством канонического права. Если вы желаете обвенчаться, окрестить ребёнка, исповедаться, вам нужен священник, одарённый силою совершить таинство, – и, конечно, вам, если вы человек религиозный, будет очень приятно, чтобы священник был искренне верующий. Но, если вам нужно только установить ваше законное право на венчание или развод, если вы имеете дело об усыновлении, процесс по уклонению от исповедания, в котором крещены и т. п., то вам практически очень мало заботы, насколько религиозен сам синодский или консисторский чиновник, в столе которого лежит ваше дело: вам важно только, чтобы он дал вопросу правильный законный ход, в результате чего будет удовлетворено ваше право. Та же самая логика руководила Римом в отношениях к жреческому институту. Личность жреца терялась в форме обряда настолько же, насколько личность чиновника духовного ведомства исчезает в статье закона. При точном исполнении предписаний формулы, жрец не мог испортить или улучшить гаданий даже преднамеренно. Авгур объявляет военачальнику счастливые предсказания к битве. Стороною военачальнику дают знать, что авгур солгал: пред-

сказания были дурные. Военачальник спрашивает: «Правильно ли были произведены наблюдения?» – «Правильно». – «В таком случае, я дам сражение, а, какие ауспиции он получил, мне безразлично: мне он объявил хорошие, и я обязан поступить в соответствии с ними. Если он солгал, боги накажут его; нам же боги обязаны помочь, потому что мы посланы ими в бой при хороших ауспициях». Не напоминает ли это современной бюрократической логики, которая закрывает глаза на факты позади последней бумаги с входящим номером, принятой к исполнению и снимающей с исполнителя всякую ответственность за последствия?

С римскою государственною тенденцией общедоступности религиозного предстательства жречество напрасно боролось с течение всех веков республики. Духовенство сложилось в общественный класс, отвоевало себе специальность благодатных вдохновений и захватило ими огромную политическую власть во всех дохристианских культах, – кроме государственного римского. В последнем оно стало приобретать силу лишь в последние века империи, когда потребность индивидуальной веры сделалась в народах римских сильнее потребностей строгой государственности. Основной римский культ, к третьему веку нашей веры, окончательно превратился в сухой внешний символ государственных взаимообязательств римского гражданина, где бы этот последний ни находился, со своею древнею метрополией; нравственно же он, – и без того никогда на этот счёт не притязательный, – был теперь совершенно заслонён синкретическою религиею, гостеприимно открывшею свои недра и египетской Изиде, и Солнцу-Митре, и Сирийской богине, и теософическому исповеданию неоплатоников. Наконец, истинное торжество теократического принципа внесла в Рим и в мир реформа Константина Великого, со времени которой интересы римского императора и дело священства христианской церкви переплелись тесными узами: обе власти стали органическим дополнением одна другой, и, расторгнутые, уже не могли бы существовать. Чем это кончилось, – хорошо известно; мало-помалу, сила церкви и епископа, во взаимодействии с верховною властью, победила авторитет светско-государственной традиции, а, победив, поставила себя выше и недавней союзницы своей, верховной власти: народилась грозная мощь средневекового папства.

И так, когда в настоящем этюде мне придётся упоминать о религиозных чудесах и тайнах древнего Рима, я заранее условливаюсь с читателем, что, за исключением немногих оговорённых мест, речь будет не о римском государственном культе в античной его простоте и прямолинейности, но о тех наслоениях, которые внесла в него позднейшая эллинизация римской культуры, а ещё позднее, разветвившийся от неё, космополитический синкретизм. В этом же, так называемом, эллино-римском язычестве погоня за чудесным, божественном вмешательством в жизнь человеческую – одна из наиболее характерных черт, и сказывается она тем упорнее, чаще, настойчивее и страстнее, чем более побед одерживает юное, свежее, полное сил и надежд, христианство. Церковь Христова сложилась на фоне неописуемых чудес земной жизни её Основателя. Сверхъестественные проявления благодати, почивавшей на апостолах, мужах апостольских и прочих двигателях первобытного христианства, были могучим пособием к распространению и победе христианской идеи. Сказания и свидетельства о чудесах покоряли христианской проповеди те народные массы, тёмные и недосужие мыслить отвлечённо, которым не хватало нравственной восприимчивости и привычки к умозрению для оценки внутренних красот веры Христовой, которым «не вразумителен» был Павел, которых смущала евангельская простота. Язычество, в предсмертной борьбе за существование, силилось доказать, что и в его недрах таятся такие же сверхъестественные, чудотворные силы, и даже большие, чем принесло галилейское учение. Чудесам Спасителя противополагали чудеса Ямблиха, Аполлония Тианского; Евангелию – мистический роман Филострата. Можно даже сказать, что с третьего века христианство и язычество поменялись местами по страстности отношения к чудесам. Чем долее жила христианская церковь, чем твёрже становилось её государственное положение, тем меньше оглашалось в ней новых чудес. В восемнадцатом веке возник между протестантскими богословами оживлённый спор о дате, с которой надо считать, что способность постоянных

новых чудес и знамений иссякла в первобытной церкви. Одни полагали такою датою кончину последнего апостола, другие (большинство) – обращение к Христу императора Константина, третьи – уничтожение ереси Ария. Как бы то ни было, но в третьем и четвёртом веке чудо – уже не необходимое орудие для торжествующих христиан: прирост церкви развивается неуклонно и быстро, для него довольно и естественных средств. Желанный Ханаан достигнут, и небеса не посылают больше манны, и огненный столб не светит Израилю по ночам. Язычество подобрало оружие, которое покинули его враги, и которое в руках их было так победоносно. В 354 г., – когда победа христианства над Римской империей могла считаться уже окончательно решённою, – старый государственный культ внезапно оживил свои угасающие силы нечаянным чудом. Продолжительные морские бури прервали сношения между Римом и Африкою, его житницею. Корабли хлебных караванов не могли войти в гавань. Рим голодал, чернь начала бушевать. Бессильный помочь беде средствами человеческими, городской префект Тертуллий, вопреки запретительному закону императора Констанция против языческого богослужения, старался протянуть время в любимых народом религиозных церемониях. Он отправляется в Остию и служит торжественный молебен в тамошнем храме Кастора и Поллукса, «морских угодников» языческого Рима. Случилось, что, как раз во время молебна, ветер на море переменился, и африканские суда подошли к голодной столице. Конечно, молва о чуде разошлась по всему свету и, несомненно, поддержала расшатанный авторитет олимпийцев гораздо лучше, чем полемика софистов и даже, наступившее шесть лет спустя, правление Юлиана Отступника. Чудо – последний аргумент правоты, за который хватается гаснущий политеизм. Никому из зрителей обратного превращения Люция из осла в человека, свершившееся для благополучной развязки апулеевых «Метаморфоз», не доставило столько удовольствия, как жрецу Изиды, когда он понял, что пред ним не «христианский колдун», но верующий чтитель богини, спасённый ею за благочестие и в знамение своей силы и славы. «Сюда, безбожники, – взывает восторженный жрец, – смотрите и исповедуйтесь в своих заблуждениях!» Только в поздних веках империи римская религия выучилась оскорбляться не одними деяниями неверующих, но и самою свободою философской мысли. При этом, как водится, ревность светских ханжей далеко обгоняла усердие даже, прямо заинтересованного в борьбе с безбожием; духовенства. Восклицания Изидина жреца у Апулея вежливо сдержанны и невинны, сравнительно с проклятиями, что призывает на вольнодумные головы Ксенофана, Диагора, Гиппона, Эпикура благочестивый Элиан, – автор сборника, который, по миссионерскому назначению дать ряд примерных наставлений маловерному обществу, можно сравнить с нашим «Училищем Благочестия». Чудесные исцеления, видения богов, оправдания оракулов, случаи сверхъестественного вмешательства в дела не только богобоязненных людей, но даже животных, удачные пророчества, примеры небесного гнева на богохулителей и нечестивцев, описания убеждённых обращений от атеизма к вере и т. п. наполняют сочинения Элиана, Артемидора, Максима Тирского, ритора Аристида, – странного мечтателя-духовидца, Сведенборга о язычестве. Юлий Обсеквенс, внимательно изучив Тита Ливия, пользуется своим знанием только для того, чтобы сделать хронологический свод рассказанных им чудес. Выходят в свет поддельные мемуары героев Троянской войны, с поддельными указаниями на известность их прошлым знаменитостям литературы, вроде Корнелия Непота. Ненависть к отрицателям божественной силы в политеизме пылала страшная: серьёзно поднимался вопрос об уничтожении философских сочинений Цицерона, вместе с иудейскою библией, как вредных для государственной религии, – и немало надо подивиться благородной выдержке и здравому смыслу твёрдого римского правительства, не пожелавшего купить такою лёгкою взяткою симпатии невежества, облечённого в маску «народной Немезиды». Чудес не только ждали: их требовали, к ним привыкли. Фридлэндер справедливо усматривает характерную черту для выжидательно-мистического настроения языческих масс в век апостольской проповеди, в том спешном легковерии, с которым жители Листры приняли апостолов Павла и Варнаву за Меркурия и Зевеса, – при чём сначала

едва не принесли им жертвы, а, когда разочаровались, что они не боги, то вскоре побили их камнями. Никого в народе не смутило рождение нового живого оракула, «бога Гликона», в образе Эскулаповой змеи, которую Александр Абонотейхот вывел, на глазах огромной толпы фанатиков, из гусиного яйца. Именем Гликона плут долго управлял религиозным мнением государства, включая сюда и государя, при том такого умного человека, хотя не слишком удачного правителя, как Марк Аврелий. Такое стояло мистическое время, что люди скорее удивлялись, зачем боги прячутся от жаждущих видеть их рабов своих, чем тому, что они обнаруживают своё бытие чудесами и видениями. Достойно замечания, что, воюя с христианскою догмою, языческие полемисты не только соглашались с возможностью чудес Христовых, но даже находили их незначительными, далеко уступающими хитрым таинствам пифагорейских и неоплатонических фауматургов, вроде Аполлония Тианского. Иногда культы новый и старый открыто соперничали о праве на одно и то же чудо, как было, например, в известном случае при победе Константина Великого над Максенцием. И христиане, и язычники равно сочли её даром сверхъестественной помощи, но христиане полагали таковую в знаменитом видении Константина «Сим победиши», а язычники уверяли, будто за Константина видимо сражались его славные предшественники, покойные римские императоры, во главе с обожествлённым отцом его, Констанцием Хлором. Константин, благоволя открыто к христианам, не находил нужным опровергать и язычников. На триумфальной арке его, доныне красующейся в Риме близ Колизея, претензии языческие и христианские дипломатически примирены глухою фразою об участии в подвиге Константина «божественного внушения» – без указания, от принадлежащих которому культу божеств.

Религиозная терпимость римлян была одною из главнейших причин охотной покорности им народов и распространения их владычества на все известные тогда пределы земли. К концу республики, Рим совместил в себе весь мир, а божница его – богов-покровителей всего мира. Осаждая какой-либо город, римляне творили торжественный обряд, имевший целью уговорить богов обложенной твердыни, чтобы они отказались от настоящего своего местопребывания и перешли на жительство в Рим. Боги, обыкновенно, повиновались: то есть, в случае сдачи города, присоединения нового племени или государства, предполагалось, что они послушались молений и перешли на римскую сторону. Сохранилась формула этого обряда, очень почтительная, ясно доказывающая, что даже в самые древние времена Рима, ему была чужда религиозная исключительность. Строго чтя родных богов, римлянин, однако, не считал их едиными владыками мира и не объявлял ложными богов, поклоняемых другими народами. Римский гений велик на своём природном месте, эти – на своих местах; безумно презирать их только потому, что они чужие, лучше сойтись с ними дружески, умаслить их, подкупить, привлечь к союзу. Небо, как и земля, представлялось древнему римлянину, объединителю вселенной, разделённым на кланы и уделы, которые надо собрать в одну руку, – и, совершенно тем же порядком, как римские земли в Италии округлились за счёт этрусков, латин, сабинов, так и римская божница последовательно пополнилась этрусскими, сабинскими, латинскими божествами и соответственными привносами в ритуал и обычай. Взяв город Вейи, римский главнокомандующий прежде всего поспешил отслужить молебен местной Юноне Владычице, прося её принять отныне под покровительство победоносный римский народ. Молились, покуда вождь не объявил, что Юнона умилостивлена и благосклонно кивнула ему головою. Тогда богиню перевезли в Рим и включили в национальные святцы. Так же точно отвоёвана у Тарента статуя Победы, хранимая ныне Ватиканским музеем. Римский сенат присвоил её себе, как покровительницу его заседаний. Этот женский гений отцов отечества нелегко уступил христианству: св. Амвросий Медиоланский и Симмах тягались за древние сенатские права прекрасного кумира ещё при Грациане и Феодосии Великом. Заимствовали богов военною силою, заимствовали мирным подражанием через соседство культов. Из Кум Рим взял Аполлона, Геркулеса, Сивиллины книги; из Локр, через Тускулум, Кастора и Поллукса; из Сицилии – Афродиту Ардейскую и

Эрицинскую; из Тарента – игры в честь Доброй Богини, секулярное чествование Дита и Прозерпины и т. д. Соседи, обираемые Римом в богах своих, старались платить тою же монетою. У Дионисия Галикарнасского читаем об этрусском жреце, который заклинал хранителя Рима, Юпитера Капитолийского, переманивая его на свою родину и обещая ему посвятить там точно такой же Тарпейский холм, как и в Риме. Чтобы заклинания подобного характера не могли иметь удачи, Рим прожил всю свою историю и живёт теперь к концу третьей тысячи лет, в сущности говоря, под псевдонимом: настоящее мистическое имя города, равно как и имя его гения-покровителя, было окружено глубокою тайною, в которой и умерло вместе с древними богами. Один из старого знатного рода Валериев проболтался об этом имени, – и сам он жестоко поплатился за нескромность, а слушатели-соучастники за опасное знание. Как боги лишают своего покровительства воюющую сторону и бегут от неё, о том легендарная сокровищница римской истории хранит много рассказов. Пред разрушением Иерусалима Титом, двери великого Иродова храма на Сионе распахнулись ночью сами собою, мерцал таинственный свет, слышались грозные голоса: «Уйдём отсюда». Прослышав об этом чуде, римляне заключили, что Иудейский Бог покинул народ свой на его собственные силы и не стоит за него более. Солдат, который поджёг храм во время штурма, вопреки приказу Тита пощадить святыню; казался товарищам действующим вне себя, под внушением какого-то непостижимого, нового божества. То есть, – его рукою мстил до конца народу своему разгневанный, карающий Бог иудейский. Во время междоусобия триумвиров Октавия и Антония, однажды ночью, воздух наполнился музыкою и смутными звуками, как бы толпы, удалявшейся от лагеря Антония. Странный феномен был истолкован в том смысле, что это – отступился от Антония его покровитель, бог Дионис (или Геркулес) и ушёл на сторону Октавия.

Из небесных дезертиров составился в римском календаре отдельный класс богов, разделённый на многие категории (Dii adventitii, dii deditii, dii municipii, dii peregrini), в подробности которых здесь входить излишне. Значением они были ниже природных римских богов, по крайней мере, в момент своего первоприёма в Риме, покуда какой-либо благоприятный случай или многолетняя привычка к культу не вводили их в честь. Выслужиться в Риме благоприобретённый бог мог довольно легко, – при той розни, какая существовала между патрицианским и плебейским слоями города-государства. Плебеи не забывали, что исконные римские божества суть, собственно говоря, фамильные и племенные боги, гении-покровители патрициата, – следовательно, считали их втайне враждебными демократии и не прочь были искать противовеса их могуществу в сверхъестественных пришельцах из соседских культов. Так, например, культ великой земледельческой триады – Цереры-Деметры, Коры-Либеры, Диониса-Либера, – был по преимуществу плебейским и даже превратился с годами как бы в символ плебейской свободы, народных вольностей и конституционного равновесия. В храме, посвящённом триаде, хранился политический архив плебеев, в пользу этого храма поступали штрафные конфискации в случаях правонарушений, оскорбительных для плебейского равенства. До какой степени разница культов плебса и патрициата была вопросом политическим, явствует из знаменитого процесса против участников таинств Вакха в 186 году до Р. Х. Разоблачения вакханалий смутили власть ужасами безнравственности, но главным-то мотивом беспощадного преследования вакхантов и выставлялась, и была действительно опасность политического заговора, который мог поставить себя под покровительство нового свободолюбивого культа. И боязнь была не вовсе неосновательною, если принять в соображение, что даже в числе немногих данных, которые история имеет об этом таинственном и тенденциозно оклеветанном культе, сохранились два многозначительно-красноречивых принципа: равенство рабов с господами, равноправие посвящённых мужчин и женщин.

Третий класс, вернее обособленное подразделение второго, образовали божества, узнанные Римом во внеиталийских завоеваниях его, признаваемые за силы сверхъестественного могущества, но не включённые в общегосударственную божницу обязательного культа, –

не препятствуемые к поклонению, иногда даже поощряемые предпочтительно пред другими богами, но оставленные лишь в обычае, а не в законе; религиозный кодекс Рима их не защищал. Так, иудейский Иегова, Яхве или Иао почитался многими римлянами, не исключая даже столь строгого религиозного патриота, как Август. Христос, – не в качестве Божественного Учителя и Спасителя мира, но как «варварский бог», – помещён в кумирне Александра Севера и т. д.

Этим божествам – пришлым, сдавшимся, чуждым – строили храмы за священною чертою города, во избежание ревности со стороны родных богов. Можно думать, что, вопреки букве запретительного закона о подобных постройках, разрешение на них давалось очень легко для всех культов, по мере их распространения. Христианство было гонимо римским правительством, – однако, известно, что уже во втором веке оно имело в Риме свои церкви (до шестидесяти!), часовни и кладбища, возникавшие, конечно, в светлые промежутки преследований. Предместья Рима были густо застроены храмами разных религий, – и государство, даже будучи недовольно которою-либо из них, посягало на эти святилища враждою очень редко и осторожно: каждый случай внутренних столкновений римского городского благочиния с чужестранным культом записан историками, как событие, из ряда вон выходящее; на тысячелетнем протяжении римской истории можно пересчитать такие исключения терпимости по пальцам, причём, как говорилось ранее, каждое имеет логическое объяснение в мотивах уголовных или политических. В общем же правиле, широкая и любознательная религиозность Рима паче всего опасалась, как бы ей не оскорбить чьего-либо бога, без крайней к тому надобности. Обжившись в Вечном городе и войдя в моду, боги-пришельцы быстро и искусно завоёвывали себе легальное положение и иногда добирались даже до Капитолия, как удалось Изиде и Серапису. Время от времени, римский государственный культ делал уступку общественному суеверию, торжественно усвояя себе которое-нибудь из чужестранных божеств, наиболее модных и заслуженных, или рекомендованных оракулами. Параллельно с географическим движением римской военной политики на Восток, входили в честь и проникали в Indigitamenta божества азиатские. Древнейшей канонизации удостоилась сирийская Мать Богов: её перевезли в Рим из Пессинунта Галатского в 205 г. до Р. Х., и, как только очутилась она на италийском берегу, сейчас же совершила чудо, очистив весталку Квинту Клавдию от тяготевших над нею подозрений в нарушении обета девственности. В век Цицерона и Юлия Цезаря полуофициальным признанием пользовался, по-видимому, иудейский культ Яхве. В память Юлия же Цезаря построили триумвиры храм Изиде и Серапису, как бы почтив тем египетские пристрастия покойного. Август дал развиться сирийскому культу Адониса. Гелиогабал навязал Риму Ваала и т. д. Но гораздо большее количество варварских богов было усвоено Римом чрез международное сравнение мифологий, чрез общение и ассимиляцию культов (Синкретическая религия). Так, Сулла в дикой Ма, богине Коммагены на Евфрате, узнал древнюю римскую Беллону и перевёз её с почестями на Тибр. В Галлии имена римских богов сочетались неразрывно с именами местных божеств, предполагаемых им параллельными. Туземная лузитанская Атецина стала в римском толковании Прозерпиною. Явились Юпитер Гелиопольский, Юпитер Долихийский, Юпитер Аммон и др. Дельфийский оракул торжественно провозгласил, что боги везде одни и те же, под какими бы именами им ни поклонялись. Это был уже шаг к тому, чтобы имя божества перестало звучать обозначением его личности и обратилось в символ известных его качеств, привычно проявляемых в известном храме, по чину известного культа, народа, государства. Язычество возвращалось к исходу, откуда оно доисторически начало: божественные существительные стали переливаться в прилагательные, божественные индивидуальности – выцветать в эпитеты. Слагалась новая хитрая мифология условных абстракций, чрез которую ясно сквозила конечная идея Однобожия, проникали в жизнь пантеизм и деизм.

2

Итак, различие между религией и магией не могло найти себе твёрдо определительных устоев в течение тысячелетней истории Рима, начиная с древнейших угроз волшебству в законах Двенадцати таблиц и кончая указами Константина, Констанция, Валентиниана, обоих Феодосиев, которые, под предлогом преследования магии, раздавили и весь обряд старо-языческих культов. Кроме зыбкого принципа, что религия производит чудеса благие и светлые, а магия вредные и тёмные, – можно установить ещё один, хотя постоянный, но столь же мало определённый. В чуде религиозном сила божества являет себя добровольно; чудо магическое свершается чрез принуждение божества человеком.

Боги – бытия могучие, но не безгранично; они повинуются жертвам и формулам. Словами, знаками, обрядами их можно переманить с места на место, удержать при себе против их воли, – словом, до некоторой степени, управлять ими, как силою служебною. Пример, как боги торгуются из-за условий перемещения, передаёт Дионисий Галикарнасский. Боги, перенесённые из Лавиниума в Альбу, сбежали ночью, сквозь запертые двери, на старое своё пепелище. «Они очутились в Лавиниуме на прежних пьедесталах. Их перенесли вторично, но они ещё раз вернулись на то же место. Тогда решили оставить кумиры, где стоят, но переселили в Лавиниум шестьсот альбанцев со всеми их семьями, чтобы заботиться о богах, и дали им в начальники Егеста». Это пример религиозного компромисса с своеволием божества. Но не всегда с капризными кумирами обходились так мягко. Случалось, что их держали как бы в плену, пользуясь их благодатью насильно. Свидетели Квинт Курций и Плутарх. По рассказу первого, тирийцы привязывали местно чтимую статую Аполлона, потому что «эти быстроногие и летучие боги всегда готовы перейти к врагу». Во время осады Тира Александром Великим, коварный кумир откровенно сочувствовал македонскому герою. «Многие граждане Тира, – говорит Плутарх, – видели во сне Аполлона угрожающим уйти к Александру, потому что ему не угодны городские порядки. За это тирийцы наказали бога, как уличённого перебежчика: колосс его скрутили верёвками и привинтили к пьедесталу, да ещё прозвали его „Александровцем“».

Мифологи прошлого века не любили доверяться простодушию древней веры. Не поверили они и прямому, наивному объяснению уз, наложенных на тирийского солнечного бога. Крейцер мудрствовал о нём: «Идол был почти всегда на цепи; это, по всей вероятности, должно было символизировать приближение зимы, налагающей оковы на пламя солнца, или же неразрывный узел, сочетающий первоначального творца со вселенною». Если бы даже возможно было принять, в данном случае, стихийное толкование, – то чем объяснить другие, ему подобные? Насколько был распространён обычай держать кумиры богов на привязи, видно, между прочим, из того простого и обыденного обстоятельства, что значительное число статуй, оставленных древностью, снабжено в подножиях кольцами – для верёвки или цепи, которым решительно нельзя придумать иного назначения. Древние прикрепляли статую, вместилище заклятого ими божества, чтобы божество не освободилось и не убежало вместе с своим кумиром. Совершенно по той же логике, в средневековых библиотеках заковывали в цепи, окроплённые святою водою, сборники магических формул и демонологические трактаты, учившие, как покорять своей воле дьявола. Средневековой магик общился с миром духов через книгу, древний феург – через статую. Дьяволам Спренгера и Дель Рио было лестно украсть какой-нибудь «Ключ» или «Гримуар», училище неограниченной власти над злыми духами. Древнему демону или богу было также лестно вырваться на свободу, утащив у человека, связавшую его волю, статую. И, конечно, как дьяволам Спренгера и Дель Рио препятствовали в их хищнических затеях не верёвки и цепи, но святая вода, их окропившая, и молитвы, при этом произнесённые, – так точно должен был иметь свои мистические запретительные формулы и античный обряд связывания и развязывания кумиров. Здесь религия уже теснейшим образом соприка-

сается с магическим искусством возвысить волю человеческую над волею божественною, которую признавал в статуе не рассуждающий народный ум, над волею демоническою, которую желал усматривать в ней мыслящий и образованный монотеист-философ. Магическая феургия – таинственная власть поклоняющегося над поклоняемым. Она сильнее бога-демона. Бог-демон терпит её против воли. И в этом-то, с теологической точки зрения, заключается её принципиальная греховность и преступность. Практическое назначение законодательства против магии – запрет возможности наносить людям вред чрез богов, обезволенных её средствами; высший теоретический смысл запрета – защита почитаемого божества от унижения, порабощающего его волю. В мероприятиях против волшебства Рим заступался сразу и за своё гражданство, и за свою божницу.

Народное убеждение в способности статуй к перемещению, конечно, питалось не только легендами и видениями суеверов, но и множеством кумиров-автоматов, в изобретении которых античная механика, с лёгкой руки Герона, была, по-видимому, необычайно искусна. О чудотворных статуях, созданных древними мастерами, – говорящих, краснеющих, потеющих, вращающих глазами, кивающих головами, ходящих, летающих, – говорят Лукиан, Авл Геллий, Макробий, христианские легенды о Симоне Волхве, Апокалипсис Иоанна и т. д. Многочисленность разносторонних свидетельств, до известной степени, ручается за возможность факта. Обыкновенное возражение скептиков, будто механика древних не могла производить очень сложных приборов, опирается на то доказательство, что все рабочие и ремесленные орудия, сохранившиеся от античной промышленности, крайне просты, грубы, – можно сказать, первобытны. Оно не исчерпывает вопроса. Каждая эпоха развивает то предложение, на которое имеет наибольший спрос. Первобытность античных ремесленных орудий определяет только то условие, что древние мало нуждались в усовершенствовании механических средств производства. При дешевизне рабского труда, при беспощадных от него требованиях и в количестве, и в достоинстве работы, – имея к тому же для эксплуатации европейскую природу далеко ещё не в столь истощённом виде, как теперь, – античный производитель не старался усилить интенсивность труда искусственною энергиею: раб был выгоднее машины. Ещё Герон учил о движущей силе пара, – однако, до Уатта надо было ждать слишком две тысячи лет, пока настоятельная социальная потребность в новом моторе, сильнее и дешевле человеческих рук, вызвала к промышленной реформе успешного изобретателя. В восемнадцатом веке только Англия могла породить Уатта, потому что его изобретение было ей уже насущно необходимо. Франция, за сто лет до Уатта, посадила его предшественника, Соломона Ко в дом сумасшедших. Если это и легенда, то выразительная: она – символ национального признания, что промышленность Франции, в эпоху Ко, не дозрела ещё до потребности в механических средствах, настолько настойчивой, чтобы, чаемая от изобретения, польза могла победить в глазах века предрассудок исконной традиции против неслыханного нововведения. Словом: если античный мир не имел машин, которыми мы пользуемся, то не следует забывать, что он в них, по характеру производств своих и размерам своего потребления, весьма мало нуждался. Наоборот, мы – не имея столь сильной, постоянной и настойчивой потребности в изящных искусствах, художественной промышленности, в религиозной красоте, в религиозном чуде, какою отличалась древность, – бессильны породить скульптора, способного создать вторую Венеру Милосскую, архитектора, который победил бы творцов Парфенона и Колизея, – быть может, не будет ошибкою прибавить: и механика-специалиста, чтобы возвести на степень древнего совершенства мистические представления и чудеса. Христианские церкви чуждались всего, что могло напомнить народу об изящных, занимательных идолах; они не нуждались в прекрасных, загадочных статуях-автоматах; следовательно, производство последних должно было умереть. И оно, действительно, умерло, как почти на одиннадцать веков, умирала, за ненадобностью, божественная олимпийская скульптура. Да и вполне ли она воскресла? Когда Возрождение начало роднить Европу с преданиями «воскресших богов», то, в числе других оживших искусств, стало было разви-

ваться и производство самодвижущихся фигур: им, в целях религиозных и театральных, занимаются такие люди, как Тритгейм, Корнелий Агриппа, Леонардо да Винчи; слагаются легенды, что в нём достигали удивительных успехов предвестники Возрождения, вроде папы Сильвестра (Герберта) или Альберта Великого. Если оно опять заглохло и вымерло, причину надо искать в гонениях католичества на всё, что его невежественной инквизиции казалось похожим на магию, и в иконоборческой энергии реформации.

Вообще, наука древних цивилизаций – дело спорное и загадочное даже до сего дня. Смешно благоговеть пред её тайнами вслед сторонникам теории Балльи, но вряд ли правильно относиться к её «младенчеству» с презрением современных представителей положительного знания. Какова бы ни была античная культура, она была неизмеримо выше не только средневековья, но и всего Возрождения. Её право не умерло до наших дней, её астрономии хватило Европе до Коперника и Кеплера, причём, однако, и Коперниково открытие имело своих античных предшественников в пифагорейцах Филолае и Архитасе и, особенно, в великом геометре Аристархе Самосском. Числовые периоды пяти главных планет, высчитанные Гиппархом, остаются и посейчас фундаментом планетной астрономии и принимаются современною наукою почти без поправок. В математике мир до сих пор верит Евклиду больше, чем Лобачевскому. Тысячу двести лет надо было жить медицине от Галена до Везалия. Ещё больше промежуток между Аристотелем и Бэконом, – и так ли уж далеко ушли вперёд от логики их Джон Стюарт Милль и Александр Бэн? Мы, русские, греки, славяне. настолько прочно утвердились в пользовании Юлианским календарём, что ещё недавно, при переходе в двадцатый век, провалили увещательные проекты Грегорианской реформы. Пятнадцать столетий изживает Европа остатки этих разрушенных, отвергнутых цивилизаций, и не может изжить. Думаю, что, при зрелище таких прочных и многосодержательных обломков, мы имеем и право, и основание относиться с большим доверием и уважением к гипотезам о мудрости целого, которое они когда-то составляли.

Что касается естествознания, техники, механики, то, смеясь над их бедностью и сомнительностью в античной науке, мы, быть может, слишком много значения придаём таким энциклопедическим писателям, как, например, Плиний Старший, Сенека, Элиан. Между тем, сочинения их – не более, как обширные популяризации общедоступных знаний для малосведущей «общей» публики, и судить по ним об истинном уровне античных наук так же неосновательно, как если бы мы сделали заключительный вывод об успехах современной химии из книжек, издаваемых для первоначального самообразования. Немыслимо предполагать, чтобы знание древних близко подходило к высотам опытных наук прошлого и даже восемнадцатого века. Но нельзя остановиться и на мысли, чтобы знание это ограничивалось теми тесными рамками, которые так легко устанавливаются, если слепо довериться дошедшим до нас свидетельствам, признавая их в букве и, смысле, как последнее слово античной науки, не позволяя себе ни размышлений, ни гипотез, вне их непогрешимого авторитета. Отличительным признаком древней науки был аристократизм её, жречество, сословная тайна. Наука не демократизировалась, не шла в житейский обиход, оставалась силою для немногих избранных людей и для священных целей. И, быть может, в этом последнем назначении, она, действительно, знала больше, чем мы о том осведомлены авторами. Из несомненных чудес-фокусов древней религии многие не могут быть разгаданы средствами науки того времени, поскольку она нам известна. В самом деле, что заставляло летать эти таинственные кумиры? Игрушки, летающие без помощи пара, нагретого воздуха, водорода, и в наши дни не совсем обыкновенны; они возбуждают чуть не суеверное удивление, и опыты с ними собирают полные аудитории любопытных. Что такое светящиеся камни в венцах кумиров, которыми иные храмы освещались ярче, чем днём? Какой свет в состоянии дать подобный эффект, кроме электрического? Мы знаем, что фокусы производились, но почти ничего не знаем о способах производства фокусов. Что наука древности слишком много тратилась на фокусы, этот упрёк не подлежит опровержению. Но чудотвор-

ный религиозный культ античных государств, объединённых Римом, требовал фокусов, – и в них не было недостатка. Известны случаи, что верующий, испрашивая у богов пророчества на удачу своего предприятия, не довольствовался одним благоприятным знамением, но, заручившись им, просил подтверждения вторым и третьим. С такими придирчивыми прихожанами, жреческой науке было где и зачем развить свою прикладную специальную изобретательность. Описывая храм Сирийской Богини, равно священный для нескольких культов, Лукиан, скептик и ненавистник богов, насчитал чуть не целое полчище кумиров-автоматов, которых существование повергает нас в такое недоумение, что мы часто предпочитаем вовсе ему не верить. Между тем, Лукиан, как будто, удивлён только скоплением и разнообразием множества их в одном Храме, – о самодвижении их он упоминает равнодушно, вскользь, как о вещи, всем давно известной.

Наконец, надо принять в сравнение высокую степень развития древнего строительства, особенно римского. Здесь дело шло уже не о фокусах. По римским мостам в Швейцарии, в Испании, в Македонии две тысячи лет тянутся проезжие тракты и, наконец, стали ходить железнодорожные поезда. Аппиева дорога прослужила Италии, с самым дешёвым ремонтом, тоже чуть ли не до рельсовых путей. Практичнее, проще и дешевле римских зданий из дикого камня, залитого цементом, строительная техника ничего не выдумала, – по крайней мере, для южного климата. Бедные люди в Италии и сейчас так строятся. Скорость и дешевизна этого способа сохранили потомству всё, что мы знаем об античном Риме, когда булыжный, цементированный дом ветшал, владелец не разрушал его, чтобы очистить земельную площадь для нового дома, – было выгоднее засыпать старое здание землёю и, обратив его в фундамент, вывести над ним новое. В самые последние годы, дно озера Неми выдало, почти невероятную на первый слух, тайну, что судостроители цезаря Кая Калигулы умели сооружать корабли не только броненосные, но и несгораемые. Последним условием обороны наша кораблестроительная техника не превзошла ещё современных ей средств нападения. Конечно, броненосная яхта Калигулы не выстояла бы против самых слабых пушек, но – ведь пушек-то не было. Зато орудия тогдашних морских атак, – абордажный топор, носовой терпуг и брандеры, – не угрожали ей ни малейшею опасностью. А давно ли перестали они быть страшными нашим деревянным флотам? Огнеупорный сплав, добытый с древних кораблей озера Неми, совершенством своим подверг в изумление итальянских морских инженеров. Если античная техника могла производить подобные «фокусы», по желанию правителей, остережёмся слишком резко отказывать античной механике в способности равняться с нею, по желанию священников.

Вера в движущиеся кумиры столь же стара, как и самая скульптура, – даже старше её, потому что древние верили в одухотворённость не только самых фигур божеских, но и материала, к формованию их послужившего. Даже на самых высоких ступенях своей культуры, они не отказывались от литолатрии, камнепоклонничества, символического для верующих умных и образованных, прямого для тёмных святош и ханжей. Знаменитая сирийская Мать Богов, о которой было говорено, как о древнейшем восточном божестве, принятом в римские Indigitamenta, считалась первобытно воплощённою в большом диком камне. Ваал из Эмезы, привезённый Гелиогабалом, – чёрный, конусообразный аэролит, отдалённо схожий с символом плодородия. Лактанций, уже в четвёртом веке по Р. Х., издевается над римлянами, «обожающими дикий, едва обтёсанный камень, именуя его богом Термом. Это, говорят, тот самый камень, который Сатурн сожрал, полагая, будто ест своего сына Юпитера». Когда последний водворился на Капитолийском холме, все местные божества любезно удалились с Капитолия, предоставив его в исключительное владение царю людей и богов. Не тронулся с места один лишь Терм, считая себя не ниже Юпитера. «Этот безобразный бог почитается хранителем пределов империи: он их бережёт и защищает от вторжения варваров». Из сказания о капитолийском божестве государственной границы возникла впоследствии средневековая легенда о статуях провинций, помещавшихся будто бы на Капитолии, каждая с золотым колокольчиком на

шее: если в которой-нибудь из провинций начиналось восстание, её статуя приходила в движение, колокольчик звенел, и предупреждённый сенат немедленно принимал меры к водворению порядка. В миниатюре, бог Терм покоился на каждом поле, на каждой раздельной меже двух владений: он извечно стал в Италии символом и покровителем земельной собственности; потревожить и тем более тайно перенести термальный камень было не только нарушением межевого знака, но тяжко наказуемым святотатством. Входили в честь камни исторические: Ливий упоминает, что в Риме, близ курии, долго сохранялся, чтимый с суеверным благоговением, камень, который некогда, будто бы, отрезал бритвою от скалы авгур Атт, во знамение маловерному царю Тарквинию Древнему. Клятва «богом, живущим в камне» – древнейшая римская божба: per Jovem lapidem. Историки, начиная с Катона и кончая Павлом Диаконом, описали нам так называемый «mundus», то есть мир, или свод небесный: священное место, которое италийскими народами сооружалось в почве, избранной для посёлка, с посвящением его подземным богам и душам усопших. Mundus устраивали раньше, чем началась закладка самого города, или, вернее сказать, устройство его и было этою закладкою: он становился центром, около которого должны были затем пройти, в равных расстояниях, борозды, с намёткою будущих стен города. В Риме, по преданию от Ромула, первобытный mundus помещался на комиции. То был земляной грот, углублённый в лоно матери-земли правильным полушарием, наподобие опрокинутого небесного свода. Mundus почитался дверью в преисподнюю и открывался только в известные дни, подобные нашей Радунице, когда поминали покойников, и предполагалось, что они выходят на белый свет и снова общаются с природою. В обычное же время, грот был задвинут камнем – lapis manalis, – что значит «камень манов», святых усопших, но в древнейшем языке значило «разливающийся, светящийся», от глагола manare. Камень этот, сам по себе, был предметом культа, и некоторые исследователи думают, что самостоятельного и гораздо древнейшего, чем поклонение манам. По Базинеру, камень манальный был чтим, как символ «ночного солнца», зашедшего на ночь с надземного небесного свода в тёмное подземное царство. Солнечный бог, семитический ли Ваал, эллино-римский ли Гелиос, Феб, Аполлон, часто воплощался в природном камне. Даже в Дельфах, блиставших тысячами великолепных кумиров, не вымерли древние жертвоприношения, состоявшие в помазании елеем солнечного камня.

Как все виды идолопоклонства, литолатрия началась с грубой анимистической символики. Подобно тому, как первобытный италиец поклонялся Марсу под открытым небом, пред воткнутым в землю копьём, так точно в Греции и Малой Азии глыба глинистого камня стала Матерью Богов, громадный неуклюжий валун – Гераклом, аэролит приапической формы – Ваалом и т. д. Это знаменитые камни-боги, на весь мир прославленные своею благодатью; но города греческие и римские были усеяны священными камнями, чуждыми всякой чудотворной известности, однако, с усердием почитаемыми в силу не их специального, но общелитолатрического культа. Теофраст, в четвёртом веке до Христа, описывает, как греческие ханжи, проходя улицею мимо умащённых маслом камней, вынимали свою елейницу и тоже возливали на них масло, молитвенно преклоняя колена. Латинский поэт, желая нарисовать быт, чуждый цивилизации, без религиозных зачатков, жалуется: «Нет у этих людей ни украшенного дерева в лесу, ни камня, помазанного елеем». На более высоких точках культурного развития литолатрия становится посредницею и проводницею воззрений демонических. Камень признаётся жилищем божества или духа, поселившегося в нём или сорождшегося ему. Описанный Фотием, врач Евсевий носил свой камень-фетиш на груди, советовался с ним, получал от него ответы голосом, похожим на слабый свист. Плиний толкует о камнях, которые убегают, когда делаешь вид, будто хочешь их схватить. Подобное же поверье повторялось о камнях храма Паллады в Спарте: их даже делили на храбрые и трусливые. Легенда не умерла в христианстве, ужилась и привилась на почве средних веков. У какого европейского народа нет своих святых камней, чтимых в память излюбленного местного угодника или связанных с каким-нибудь

божественным преданием? Христианские епископы, разрушители языческих храмов, обращались к камням в стенах их с повелительным словом, и камни повиновались заклятию, рассыпаясь из своего нечестивого единства. Происходило, таким образом, нечто обратное тому, что случилось при постройке фиванских стен, когда чародейная лира Амфиона заставляла камни слагаться один к другому. Несмотря на разность результатов, в предании христианском, как и в предании языческом, звучит общее убеждение: камень слышит и чувствует, камень населён силою, которой можно приказать, и она окажет разумное послушание. Преподобный Бэда проповедовал камням, и они отвечали ему «аминь». Европа не бедна камнями и скалами, которые почитаются жилищами или гробами, загнанных в нутро их, проклятых злых духов, цвергов, великанов. Полными чертовщины признаются камни друидические, рунические, многие руины древних языческих храмов. Уже у св. Жильдаса мы встречаем известие, что камни Карнакского храма имеют обыкновение исполнять по ночам таинственные пляски. У нас в России легенды демонического камне-движения так многочисленны, что могли бы дать материал для обширного сборника. Замечательнейшие: сказание о Баше и Башихе, о каневецком Конь-камне, о Конь-камне в Тульской губернии, о сибирских шаманских камнях и степных могильниках. Даже в самом центре Петербурга высится камень, который в течение многих столетий был престолом и жертвенником финского демона: это – подножие памятника Петру Великому.

Литолатрия – едва ли не самый живучий и гибкий вид суеверия. Она сохраняется весьма часто у народов, давным-давно презревших, во имя духовной религии, всякое иное поклонение твари, живой, растущей на корне или сделанной руками человека. Она переживает поклонение светилам небесным и стихиям мировым. Нации, убеждённые вырубить свои священные дубравы, избить своих аписов и пифонов, даже отказаться от культа мёртвых предков, долго ещё не перестают, под тем или иным предлогом, оказывать явное или тайное почитание божественным камням старины. Иудей был готов скорее принять смерть, чем поклониться камню, обработанному в статую, но поливал маслом свои вефили с таким же набожным усердием, как греки Теофраста – уличные столбы, а римские мужики своих межевых Термов. Аэролиты Каабы оказались в Исламе сильнее авторитета Мухаммедова; пред привязанностью арабов к «чёрному камню» отступил даже иконоборческий фанатизм мусульманских халифов. Кстати сказать: в редком из камнепоклоннических поверий сказывается демонический смысл литолатрии с более яркою наглядностью, чем в легенде о чёрном камне: эта глыба – не иное что, как ангел-хранитель Адама в раю, превращённый Богом в камень и выброшенный в пустыню за то, что не устерёг прародителей от грехопадения. В день страшного суда он опять примет ангельский вид и будет свидетельствовать пред Творцом о благочестии посетителей Каабы. Излишне приводить камнепоклоннические аналогии христианского мира: они многочисленны и, в большинстве, общеизвестны. Особенно богаты ими предания Палестины и аскетического Востока. Что касается до христианских культов, то даже на самых высоких ступенях развития их, камнеобожание умело привиться в какой-либо своей градации: если не в символической, то в демонической, или наоборот, – потому что, когда иссякает вера в демонизм, это ещё не закон, чтобы исчезали и сопряжённые с ним суеверия: они только получают новые рационалистические объяснения – в своей идее, а в своём явлении – понемногу возвращаются туда, откуда вышли, к символизму и фетишизму. Во втором и третьем веке Христовой эры, в самый разгар пропаганды сразу нескольких сильных религий духа, грубая, первобытная литолатрия имела своих обращённых. Между ними – Павсаний. «Начиная свой труд, – говорит он, – я находил, что греки были просто глупыми суеверами, когда поклонялись камню, но, посетив Аркадию, я значительно переменил своё мнение». Один из самых возвышенных и прекрасных античных культов, митраизм, победоносно развивавшийся именно в эти римские века, почти достоин, по духовности своей и чистоте этической, часто придаваемого ему прозвания «Христианства без Христа»; его удачно и остроумно сравнивают с франкмасонством. Однако, литолатрия нашла дорогу даже в эту экстатическую религию нравственного совершенствования. Как известно,

один из эпитетов Митры – «рождённый из камня». Этого было достаточно, чтобы иные участники культа, – конечно, из людей тёмных. которым философские отвлечённости не в подъём, – стали поклоняться воображаемому солнечному камню, от которого родился Солнце-Митра, и воздвигать в честь его жертвенники, с посвящениями Petrae Genetrici – «Камню, Бога родшему».

3

В полемике с христианами защитники язычества старались всячески снять с себя обвинение, будто вещество поклоняемого кумира имеет для них какое-либо значение. Однако, оправдания эти надо принимать cum drano salis. Конечно, «воображающие, будто в статуе мы поклоняемся камню и дереву, не умнее невежд неграмотных, для которых книга – только бумага». Тем не менее, материал статуи несомненно принимался в расчёт – по крайней мере, в кумирах, предназначавшихся для очень широкого или даже всеобщего поклонения. Наилучшими примерами тому должны послужить кумиры римского императорского культа. Нерон вечно нуждался в деньгах. Он был вольнодумец и не гонялся за производством его в живые боги. Однако, на его колоссальные статуи тратились громадные массы драгоценных металлов, которым, по обстоятельствам государства и по вкусам самого государя, было бы гораздо удобнее обращаться в опустошённой императорской кассе. Очевидно, соблюдалось некоторое соответствие между почитаемостью статуи и внешним благородством её материала. Сохранилось много известий, свидетельствующих, что римляне заботились о ценном украшении и великолепии чтимых кумиров с не меньшим усердием и щедростью, чем набожные люди нашего времени жертвуют на ризы святым иконам, на раки мощей и т. п. Одна неаполитанская надпись сообщает подробную опись дара, посвящённого Изиде какою-то испанкою в честь своей внучки: пожертвованная статуя богини была из литого серебра, одежда её осыпана жемчугами, изумрудами, рубинами, гиацинтами. В шестой сатире Ювенала описывается подобное же украшение доброхотною дательницею статуй Аттиса и Цибелы. Материал всех прославленных античных кумиров был благороден или по драгоценной стоимости своего вещества (Зевс и Афина-Паллада Фидия), или по чудесной необыкновенности происхождения. Вещая статуя на носу корабля аргонавтов, фетиш Язона и его спутников, вырублена не из какого-нибудь заурядного дерева, но из священного дуба в пророческой роще Додонского оракула. Статуя-автомат Паллады-Афины, знаменитый Палладиум, с которым связана была судьба Трои и обладание которым впоследствии приписывал себе Рим, выточен из костей Пелопса, любимца богов, умнейшего из людей. Палладиум – любопытный пример доказательства, что, по античным воззрениям, божество и кумир божества далеко не были существами тождественными. Божество, в бытии своём, не только резко отграничивалось от своего изображения, но даже могло очутиться по отношению к нему в совершенной противоположности интересов. Изображение Паллады, илионский Палладиум, – фетиш-хранитель осаждённой Трои; между тем сама Паллада – покровительница ахейцев. Она бессильна помочь им взять город, оберегаемый её идолом, пока последний останется в стенах его; чтобы доставить победу своим любимцам, ей приходится помогать святотатству на свой собственный счёт – покровительствовать похищению своего идола, и очень вопреки его воле, Улиссом и Диомедом. Другой пример, исторический, – цезаря Нерона. Скептик равно во всех религиях, он, однако, не расставался с куколкою Матери Богов, кем-то ему подаренною, боготворил её, приносил ей жертвы; самую же мать Богов, равно как и другие её изображения, он презирал настолько, что не стеснялся будто бы даже мочиться на них. Диктатор Сулла всегда имел при себе статуэтку Аполлона, которая приносила ему счастье, что не воспрепятствовало тому же диктатору Сулле ограбить Аполлоново святилище в Дельфах, да ещё и с весьма кощунственными прибаутками.

Эти противоречия разъясняются, отчасти, когда для анализа их мы заглянем параллельно в мистику Гермеса Трисмегиста, понимаемого в магической литературе, если не за самого Хама, то за сына его, внука Ноева. На самом деле, «Пастырь Гермеса Тривеликого» возник в первом или втором веке по Р. Х. и представляет собою любопытный памятник обмена идей египетской теософии с александрийско-греческою и иудейскою, а, может быть, и христианскою. Ошибка старинных теологов и мифологов, поддавшихся смелому обману автора герме-

тических откровений, – он взял себе псевдоним египетского Гермеса, Тота, – и относивших это произведение ко временам глубочайшей древности, к эпохе Моисея, – давно исправлена. Иные толкователи, например, Казобон, не прочь даже от мысли, что автор «Гермеса» был христианин или полухристианин, – с образом веры, средним между христианством и платоническою философией, не особенно далёким от гностических ересей. «Я не знаю, – удивляется Лактанций, – каким образом египетский Трисмегист открыл почти все христианские истины и описал во многих местах силу и величие Слова». Таким образом, книги Трисмегиста относились древним христианством к числу, хотя языческих, но не чуждых откровения, подобно знаменитым Carmina Sibyllina, – александрийской подделке древних пророчеств Сибиллы, частью в духе чисто иудаическом, частью в духе иудаического христианства. Следовательно, с Гермесом можно считаться, как с выразителем мистических взглядов большинства современников, слагавшегося равно и из язычников, его боготворивших, и из христиан, к нему снисходивших. «Самое великое чудо, – гласит таинственный трехвеликий мудрец, – что человеку дано было проникнуть в тайну природы божества и сделать себе богов. Не будучи в состоянии вложить в них души, они вызывали злых и добрых демонов и, внедряя их в кумиры, одухотворяли тем священные изображения. Вот почему идолы, – сами по себе, – имеют власть делать добро и зло». «Для этого египтянина, – комментирует Трисмегиста св. Августин, – видимые и осязаемые изображения – суть как бы тела богов, потому что в них живут вошедшие в них духи, способные вредить людям, или исполнять желания тех, которые оказывают им божеские почести и поклоняются им должным образом». Теория Трисмегиста перешла целиком в учение об идолах, принятое христианскими учителями первых веком. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал». Весьма вероятно, что этот стих в Апокалипсисе Иоанновом относится к Симону Волхву, о котором уже говорилось выше. Об этом мистике именно рассказывали, будто он оживлял кумиры – в том числе статую Нерона, – заставлял их двигаться и говорить силою демонов, им покорённых. «Иные те, кто действует через статуи, – говорит Афинагор Афинянин, – и иные, в честь кого воздвигаются статуи; важнейшим подтверждением тому служат Троя и Парий: один из этих городов имеет статую Нериллина, который жил в наше время, Парий – статуи Александра и Протея; гробница и статуя Александра – до сих пор на площади. Прочие статуи Нериллина служат общественным украшением; но одна из них славится тем, что прорицает и врачует болящих, и за это троянцы боготворят статую, украшают её золотом и венками. Что касается статуй Александра и Протея, – об этом вы знаете, что он сам бросился в огонь близ Олимпии, – то говорят, что статуя Протея издаёт прорицания, а в честь статуи Александра устраиваются на общественный счёт жертвоприношения и праздники, как будто внемлющему богу. Кто же – Нериллин ли, Протей и Александр – производят это в статуях или природа вещества? Но вещество их – медь: что же может сделать сама по себе медь, которую можно снова изменить в другую форму, как Амазис у Геродота превратил таз в изображение бога? И сами Нериллин, Протей и Александр что больше могут сделать для болящих? Ибо что теперь, по рассказам, производит статуя, то производила она и тогда, когда Нериллин был ещё жив и болен». Кто был этот Нериллин, неизвестно; что касается Александра и Протея, оба – личности исторические: первый из них – знаменитый теософ-шарлатан из Абонотейха или, может быть, Александр Пелоплатон, предполагаемый сын Аполлония Тианского, а второй – весьма популярный цинический философ, зло осмеянный Лукианом в сатире его на «Смерть Перегрина». Минуций Феликс дополняет: «Нечистые духи, демоны, о которых знали маги, философы и сам Платон, скрываются в статуях и идолах, которые по их внушению приобретают такое уважение, как будто в них присутствует божество; они вдохновляют прорицателей, обитают в капищах, действуют на внутренности животных, руководят полётом птиц, управляют жребиями, произносят смешанные с ложью прорицания». И, наконец, учение Лактанция: «Чтоб отвратить людей от служения истинному богу, демоны научили их делать статуи и идолов, украшать портреты умерших государей, и

освящать их в храмах: демоны присвоили себе имена сих умерших государей, дабы привлечь к себе богопочитание народов. Однако ж настоящие магики, при совершении мерзких обрядов своего искусства, вызывают демонов по собственным их именам, а не по тем именам, под которыми воздаётся им религиозное богослужение». Словом, едва ли будет ошибкою сказать, что, по мнению учителей христианских, они, в войне с языческими божествами, имели дело не столько с личностями «князей тьмы», сколько с демоническими категориями, приписанными к ним, как некая воздушная дворня. Сами демоны сознаются заклинателям, что они не божества. Так что, даже в зле, они – не самое зло, но лишь подставные силы, заполняющие традиционные формы и явления зла. Кто знает истинное имя демона, тот уже приобретает над ним некоторую власть. В силу этого поверья, скрывали подлинные названия городов и имена их гениев-покровителей. Вот почему магик-феург стал язычнику нужнее жреца, который, служа кумиру, взывал лишь к категории демонов, укрытой за его именем, тогда как магик, зная, кто именно прячется в боге под его псевдонимом, повелевал демоном, как личностью, непосредственно.

Все эти христианские свидетели почти дословно повторяют Гермеса Трисмегиста: «Наши предки, выучившись делать кумиры, не могли сделать для них души, – поэтому, они вызвали демонов или ангелов и внедрили их в святые изображения и божественные мистерии, и это единственное средство снабдить кумир властью творить добро или зло». В подтверждение, Гермес ссылается на пример отца своего, «первого изобретателя врачеваний»: «Там в храме на горе Ливийской, на берегу реки крокодилов, покоится часть его, которая принадлежала миру, то есть тело его; остальная лучшая доля его бытия, или скорее сам он, ибо начало чувства и жизни составляет всего человека, – остальное взошло на небеса. И ныне он подаёт людям помощь в болезнях, после того как наставил их в науке целения». Благосклонность таких составных богов приносит счастье; гнев – страшные бедствия. «Ибо боги земли и мира сего доступны гневу, потому что человек устроил их и измыслил их, помимо природы». «Не верь, – учит Трисмегист, – чтобы боги, сделанные человеком, действовали без промысла. Они – как бы отражение и служки богов небесных. В то время, как боги небесные восседают в небесах, каждый соответственно своему сану, боги земные заняты своими нарочными обязанностями: они возвещают будущее в жребиях и гаданиях; они, каждый по-своему, опекают предметы, поставленные в их покровительственное ведение; они приходят к нам на помощь, как союзники, родственники и друзья».

Большинство писателей христианских, в первые века религии, ничуть не отрицают чудес, исходивших от идолов, – как, обратно, язычество охотно соглашалось признать реальную возможность чудес христианских и даже, – об этом уже упоминалось в начале этюда, – находило их не слишком внушительными. Апологеты второго века согласны, что изображения не только Юпитера или Паллады, но и разных Нериллинов, Протеев и Александров, равно как и сами Нериллины, Протеи и Александры, могут совершать проделки, похожие на чудо – только усилиями не благой, божественной, но злой, демонической власти. «Есть лживые нечистые духи, ниспавшие с небесной чистой высоты в тину земных страстей. Эти духи лишились достоинств своей природы, осквернили себя пороками, и для утешения себя в несчастье, сами уже погибшие, не перестают губить других; сами повреждённые, стараются распространить гибельное заблуждение и, отчуждённые от Бога, усиливаются всех удалить от Него, вводя между людьми ложные религии». По св. Феофилу Антиохийскому, «Гомер и Гесиод, вдохновенные, как говорится, музами, вещали от духа не чистого, но обманчивого. Это ясно доказывается тем, что одержимые демонами даже в настоящее время заклинаются именем истинного Бога, и эти ложные духи сами признаются, что они – демоны, которые некогда действовали в тех поэтах». Вообще, боги-демоны эти, по учению апологетов, в высшей степени хитры, коварны и, если можно так выразиться, литературно-дальновидны. Христианство они предвидели от века и, приготовляясь к будущей борьбе с ним, заранее тщились дискредитировать его догматы. «Если язычники называли Гермеса Словом, – говорит Иустин Философ, – если Персей по мифу

родился от девы, то это значит, что демоны, прежде воплощения Сына Божие, посредством вымысла поэтов, старались отвратить людей от веры в это таинство». Кирилл Иерусалимский добавляет: «Бог явился в человеческом образе; диавол предупредил это в языческих баснях, чтобы посредством сказаний о богах, рождающихся и рождённых, воспрепятствовать вере в истину».

Таким образом, языческая теория богов, наполняющих мир, осталась в христианской эре признанною и в полной силе, лишь перекрашенная из белого цвета в чёрный. Христианин возмущается, что слово демон производят от δαίμων, то есть «божество», тогда как гораздо приличнее производить его от δειμαίνειν «бесноваться»; но реальное бытие как духов, прикрытых спорным словом, так и могущественной их энергии, для него несомненны. Все демоны злы и деятельны в злости; даже, когда они как будто служат человеку и смиряются перед ним под маскою покорности, они дурачат своего властелина и влекут его в бездну, как одурачил некогда и увлёк к падению отец их сатана праматерь нашу Еву. Вакхические крики идольских празднеств: «эва, эван, эвое» христианские писатели изъясняли, как внушённые демонами в вечное напоминание о торжестве господина их, «князя вещества», над прародительницею человечества. Вопли эти, следовательно, являются как бы исповеданием подданства человеческого первородному греху.

Язычник-неоплатоник, чтя равно божественно приходящими и добро, и зло, верил, что демон творит то или другое, – безразлично для себя, глядя по тому, на что направит его вышняя воля, внемлющая воле заклинателя: демоны пассивны. Они не более, как частица божественной силы, отпущенная оживлять то или другое явление материи. «Вся природа полна богами», учил Фалес за шестьсот лет до Р. Х. и искал живой души в магните, – подобно тому, как впоследствии средневековый алхимик, открыв алкоголь, решил, что он изловил духа вина, и назвал его «спиртом» (spiritus). «Звук, издаваемый звенящею медью, есть голос духа, живущего в ней», – говорит Пифагор. Но, чтобы медь звенела, чтобы дух её говорил, надо заставить её звенеть, его говорить; а, чтобы звон получался правильный, говор осмысленный, нужен мудрый и опытный посредник-маг, способный и умелый управлять волею духа. Могущество магическое над миром духов необычайно широко и настойчиво. «Самые мощные боги, – говорит Порфирий, мистик Плотиновой школы и её теоретик, – повинуются грозным заклинаниям, как и самые слабые, и всегда согласны совершать несправедливости, чтобы потребовать которых – их, обыкновенно, вызывают». Им можно грозить, они позволяют запугивать себя – и, при том, даже не мудрецам-феургам, а самым заурядным «гоэтам». Вульгарная колдунья в «Фарсалиях» Лукана третирует богов en canaille, суля им, в случае непослушания, призвать более грозные силы, живущие «под адом».

Эта постыдная готовность к подчинению и к совершению дел мерзких, отнюдь не соответствующих достоинству какого бы то ни было божества, смущала нравственных людей язычества и заставляла их религиозную философию усердно заниматься возможностями, если не извиняющими, то смягчающими божеское безразличие к услугам добра и зла. Сложилась теория, что человек, собственно говоря, никогда не может получить непосредственных сношений с величием самого божества, слишком безмерным, чтобы ум смертный мог его постичь, вместить, а тем паче осилить. Покорные исполнители молитв и заклинаний – не боги, но посредствующие между ними и людьми демоны, принявшие псевдонимы богов, – подобно тому, как вольноотпущенники в римском государстве принимали фамилии своих господ. «Неприлично, – учит Апулей, – тому, кто облечён господством, брать на себя обязанность слуги»… По мнению Плутарха, отчасти разделённому впоследствии христианскою апологетикою, «каждый демон привязан к какому-нибудь богу и, так как получает от него свою силу, то и любит называться его именем». В житии св. Мартина Турского подробно описывается, как угодник вёл духовную борьбу с этими демонами – псевдонимами богов. Больше всех, надоедал святому своими шалостями Меркурий; что касается Юпитера, о нём святой говорил с презрением,

находя его скотоподобным и тупоумным. Св. Мартин Турский так привык видеть своих олимпийских врагов, что мог даже различать их по голосам: свойство, в котором соперничал с ним император Юлиан Отступник.

Вера в демонов проникла в классический мир из ассиро-вавилонской религии; здесь она составляла существенный догмат, тесно связанная с поклонением светилам небесным, комментирующая догму его и, обратно, в ней находящая объяснения и комментарии для самой себя. Трудно найти более совершенный пример соответствия в одном и том же культе понятий звездопоклонничества, демонизма и литолатрии, чем в семи камнях, в которых халдеи поклонялись семи великим ангелам, а в семи ангелах – семи главным планетам небесным. Иудейство, напитавшееся восточною ангелологиею на Евфрате, в пленении вавилонском, принесло её со временем во вторую столицу своего народа, в богатую и учёную Александрию, этот восточный Париж античного мира. Эклектизм александрийской философской школы сблизил мировоззрения Эллинское и Иудейское: родился Филон, заговорили неопифагорейцы, потом неоплатоники. Неоплатоническая реформа, в лицах Аммония Саккаса, Плотина, Амелия, Порфирия, Ямблиха, энергично проводила в общественное сознание, обрабатывала и комментировала демоническую теорию, как средство примирить существенные противоречия старой, отжившей своё время, олимпийской семьи с религиозными требованиями и взглядами новых философских школ и воспитанного ими века. Религия – путь к Богу, как к нравственному совершенству; религия – кодекс и осуществление добродетели; Бог – источник и идеал её. Между тем, боги Гомера и Гесиода столь преступны и развратны, что, какими стихийными аллегориями и философскими абстракциями ни изъясняй их поведение, уже одно наименование их деяний наглядно противополагает их идее всесовершенного существа, каким воображают себе Бога разум и чувства человеческие. «Какое отношение имеет Европа и Тавр, и Цикн и Леда к земле и воздуху, – так, чтобы нечестивая связь с ними Зевса была единением земли и воздуха?» – восклицает Афинагор Афинянин, сохраняя к феогонии натуро-философской то же презрение, что и к феогонии поэтической. Создав новую идейную мифологию «мировых душ» для философов, вроде Юлиана Отступника, неоплатонизм не желал, однако, упустить из-под своего влияния и общую массу народную; он сохранил «мировым душам» имена Зевса, Афродиты и т. п., из века чтимые эллино-римским миром; своё новое вино он подносил в мехах старых. Но они не могли выдержать молодого и сильного вина: поэзия была, действительно, слишком загрязнена, чтобы настойчивый целомудренный дух идеалистической философии, как науки и практики искания добродетели, философии от корня Пифагорова, Платонова, Филонова, мог в нею даже ужиться, не только действовать заодно. Некоторое время, однако, религия поэтических суеверий и религия философов пытаются идти рядом, совместно обязавшись целым сонмом взаимных компромиссов. Таким периодом, например, характерно рисуется нам пресловутое восстановление язычества в царствование Юлиана Отступника. Чем же, в столь противоестественных условиях существования, мог извинить неоплатонизм, с своей точки зрения, – как философская, да ещё такая чистоплотная в нравственном отношении, почти аскетическая секта, – безобразные мифы о богах и бесстыдства культа иных из них? Не в силах найти достойного ответа на эту безжалостную задачу, неоплатонический катехизатор счёл лучшим способом разделаться с нею, свалив всю вину на того же злополучного, на кого и в наши дни валят всякую трудно разрешимую напраслину: на чёрта. Правда, нашего «чёрта», собственно, ещё не было на свете; он родился позже: в романтическом мраке средневекового замка, под угрюмыми сводами католического монастыря, в лаборатории алхимика. Зато были под рукою ассиро-вавилонские демоны, кстати, принявшие эллинизацию в Александрийской школе. Вот – существа, средние между богами и людьми, соединяющие свойства тех и других, способные быть возвышенными, как боги, и низменными, как самый грешный человек. И живут они не где-то в отвлечённых, непостижимых сферах небесных, но весьма определённо витают между небом и землёю, принимая деятельное участие в быту и в судьбах

человечества. Так как демоны одинаково способны к добру и злу, то неоплатонизм, в Эннеадах Плотина-Порфирия, решил, что безнравственные обряды и мифы – дело тех демонов, которые специализировались во зле. Коварные и властолюбивые, они исказили святую первобытную богооткровенную религию, чтобы лишить человечество общения с разумным началом мира, с божественным источником всего существующего. Как мы видим, в этой точке неоплатонизм соприкасается с современною ему христианскою философией до совершенного тождества гипотез.

Вообще, неоплатонизму до слияния с христианством оставался один шаг. Но шаг этот был – через привычку к практическому многобожию, – вернее сказать: к пантеистическому дроблению божества в природе, абстракта в явлении, – с которою расстаться неоплатоникам не хватило силы, если не мысли, то воли. Гений вёл их к свету, но бросил на полдороге в сумерках, полных нерешительности. Тот же Порфирий – заклятый враг христианства и автор ярких полемических против него сочинений – уже допускал, однако, божественность Христа. Через платонизм пришли к Христу такие люди, как Иустин Философ, Татиан, Климент, Феофил Антиохийский, Григорий Чудотворец и др. И, наоборот, Аммоний Саккас, неудовлетворённый христианством, ушёл из него в платонизм, чтобы, сложив элементы старой эллинской философии и новой иудейской веры, вылепить из них свою религиозную систему – именно ту, о которой идёт речь и которую принято называть «неоплатоническою».

4

Демон есть «сияние вещества», таинственное пламя материи. Процесс бытия его – горение. Огонь, который освещает на наших оперных сценах появления Бертрама, Мефистофеля, Демона, сверкал ещё в стражах-мучителях Платонова ада. Лже-Енох, описывая место заточения ангелов, преступивших волю Божию и павших с дочерьми человеческими, говорит: «Там были фигуры, пылающие, как огонь, и, когда они хотели, то казались людьми». «Там были семь звёзд, как великие горящие горы и как духи, которые просили меня». Вера в пламенное начало демонов идёт с Востока и стара, как мир. В самых древних философских системах огонь рассматривается, как сила, очищающая материю, сообщая ей святость и духовность. Ученик восточных мудрецов, быть может, жрецов Зороастра, абдерит Демокрит, желая соединить в учении своём о субстанции души понятия её материальности и, в то же время, превосходства над всем материальным, представил душу сотканною из тончайших и чистейших, круглых атомов огня. Всё духовно-могучее, по всем мифологиям, есть в то же время и огненное. Ни одна религия не воображает себе явлений вышнего духа иначе, как огненными: эллинская легенда рассказывает о Семеле, погибшей от несносно страшного зрелища пламенного Зевеса; иудаизм облекает Бога Вышнего в красоту Неопалимой Купины и столпа, путеводительствовавшего евреями в пустыне; в христианстве Святой Дух огненными языками нисшёл на апостолов. В культах дуалистических, а также и в христианстве, где божественное благо и дьявольское зло живут в постоянном между собою борении за природу и человека, пламенные образы свойственны равно обоим началам – с разницею лишь в характере огня и света, их сопровождающих. Сладостное сияние небесного света, подобного солнечному, – необходимая подробность явления ангелов, святых, добрых гениев, кротких фей; грозное сияние вещества, зарево пожара материи, сопровождает чертей, колдунов, злые привидения. Это искони знали и описывали языческие поэты, христианские художники и мистериографы, а теперь практикуют театральные декораторы. Средневековая схоластика, разбирая вопрос о физике ада, очень интересовалась противоречием, которое вносила в его идею, обещанная ему, «тьма кромешная». Допуская, что в аду будет темно, приходилось отказаться от «неугасимого огня», также обещанного аду и составляющего самую существенную и деятельную его принадлежность. Где есть огонь, там есть свет, а, где есть свет, там не может быть тьмы. Глубокомысленная загадка была решена в том смысле, что адский огонь будет «мрачный» – не дающий света и тем паче мучительный. Вопрос решался, очевидно, до изобретения духовых печей, которые, в миниатюре, совершенно отвечают обоим адским требованиям.

Добрые демоны играют в неоплатонизме роль посредников между человеком и божеством, весьма схожую с тем значением, какое христианство признаёт за своими святыми и ангелами. Слово «ангел» даже и принято было неоплатониками для обозначения доброго духа. Одни из благих демонов возносят богам человеческие молитвы, дары, жертвы, а людям, обратно, доставляют божественные откровения; другие становятся патронами городских общин, сословий, цехов, отдельных лиц, покровительствуют тому или другому искусству, науке, заведуют кто плодами, кто погодою, кто скотом, кто путешествиями и т. п. Александрийское взаимовлияние эллино-римской мудрости и иудейской теологии, Платона и Филона, таким образом, обозначилось в демоническом догмате с полною силою. Учение об ангелах, как духовных личностях, было чуждо Пятикнижию: слово, переводимое по-гречески «ангел», в Пятикнижии обозначает ещё не лицо, а действие – проявление Божества. Но, со времени плена вавилонского, учение это стало очень могучим в иудаизме. Были секты, поклонявшиеся ангелам, что осуждалось, как заблуждение к многобожию. Предостережения против ангельского культа должен был делать новообращённой пастве своей и апостол Павел. «По воззрениям того времени, – говорит Ренан, – наполовину каббалистическим, наполовину гностическим, каждая

личность, даже каждое нравственное явление, как смерть, болезнь, скорбь, имели своего гения или ангела хранителя: был ангел Персии, ангел Греции, ангел вод, ангел огня, ангел бездны; по талмудическому верованию, ни один народ не подвергается казни Божией без того, чтобы, прежде, не был наказан его ангел-хранитель». Апокалипсис Иоанна отражает это верование в своих ангелах церквей: «И ангелу Сардийской церкви напиши». «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Слова эти с удовольствием повторяет в своём трактате «О началах» великий христианский учитель Ориген: гениальный мыслитель, в котором святой странно граничит с еретиком. Старая закваска неоплатонизма часто пробивалась в этом христианском слушателе Аммония Саккаса сквозь оболочку его правоверия, и не даром считали нужным поднимать против него оружие обличительного слова такие пылкие и прямо направленные умы, как, напр., бл. Иероним. Из трактата Оригенова мы узнаём, что ангелы даны не только церквам, но один получил назначение быть ангелом Петра, другой – ангелом Павла; затем каждому из малых, принадлежащих к церкви, дан ангел, – и эти ангелы всегда видят лицо Божие; есть также ангел, ополчающийся окрест боящихся Бога. Все эти рассуждения приняты церковью в прелестный, трогательный догмат об ангеле-хранителе. Но Ориген настаивал и на единстве природы ангелических существ, как святых, так и отверженных, он учил, что между ангелом и дьяволом разница не в естестве, но в воле, и любвеобильно открывал дьяволу возможность и способность к покаянию, спасенью и блаженству. Этих последних мудрствований Оригену, как известно, не простили. В названном же Оригеновом трактате встречаются намёки на распределение ангелов-покровителей по специальностям: Рафаил ведает дело лечения и врачевания, Гавриил наблюдает за войнами, Михаил – посредник молитв и прошений, возносимых смертными. Было бы долго выяснять связь небесного патронажа, к тому же весьма неустойчивого в назначении имён и занятий, с параллельными убеждениями талмудистов и мифами восточных культов, – да и излишне: подобные сближения были делаемы десятки раз. Мне хотелось только подчеркнуть, как трудно было даже христианской догме расстаться с популярным принципом демонической однородности и, следовательно, до известной степени, божественности всех могучих воздушных существ. Правда, что ей в учении этом оставило опасное наследство опять таки предание иудейское. Сатана книги Иова, Асмодей книги Товита равны с добрыми ангелами по праву и по силе, разница лишь в злом направлении их деятельности и в антипатии к ним Божества. Всего ярче эта нераздельность в мире духов силы доброй и силы злой, при полной их равноправности, сказывается в знаменитом эпизоде третьей книги «Царств», в видении пророка Михея. «Я видел Господа, сидящего на престоле Своём, и всё воинство небесное стояло при Нём, по правую и по левую руку Его; и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтоб он пошёл и пал в Рамофе Галаадском? и один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так». В энергичном отрывке этом лживый дух – даже ещё не враг и не противник Божий. Он такой же верный и послушный слуга Вышнего, как и все духи, хотя и употребляемый для злой послуги. Древнейшая иудейская ангелология не имела самостоятельного учения о дьяволе, как о князе вещества, как о втором, низшем боге материи, враждующей с Творцом своим и присными ему силами: представления сатанического типа развились в ней под влиянием дуалистических воззрений, принесённых с Евфрата иудеями, поворотниками из Вавилонского плена, и самарийскими поселенцами, маздеистами. Духи национального иудейского верования – Ангел-Обличитель, читающий список грехов человеческих пред Господом, и Ангел-Истребитель, карающий за грехи по воле Господа, мало-помалу, под веянием сказанных воззрений, утратили свой исконный служебный характер и приобрели самостоятельное значение врагов, обидчиков человечества, а затем, чрез вражду к человечеству, и врагов доброго начала, противников Божества и соперников его во власти над миром. Монотеизм иудейский не препятствовал избранному народу чтить

свирепую силу Азазела, демона знойных пустынь, где изнывали когда-то в тяжком переселенческом странствии таборы Моисея и Иисуса Навина. Известный «козёл отпущения» жертвовался этому демону многие века, и если синагога постаралась дать обряду иное, более приличное, символическое толкование, то народ-то не позабыл старого палящего беса. Настолько не забыл, что даже в средневековую демонологию Азазел перешёл, изображаемый эмблематически голым дикарём, который тащит за рога, доставшегося ему, жертвенного козла. Лже-Енох, чрезвычайно подробный в классификации обязанностей духов добрых и пристрастий духов злых, очень хорошо знаком с этим Азазелом и знает, как он превратился из ангела в беса пустыни. Некогда Азазел был вторым по Семъязе, главе падших ангелов-«стражей», «которые сошли с неба на землю и открыли сынам человеческим то, что было сокрыто». Азазел научил людей «делать мечи, и ножи, и щиты, и панцири, и научил их видеть, что было позади их, и научил их искусствам, – запястьям, и предметам украшений, и употреблению белил и румян, и украшению бровей, и употреблению драгоценнейших и превосходнейших каменьев, и всяких цветных материй и металлов земли». Хотя павшие товарищи Азазела научили людей многим не менее опасным знаниям, но, по Еноху, гнев небесный разразился над этим нарядным бесом скорее и резче, чем над другими. Готовясь исправить землю всемирным потопом, Господь повелевает ангелу Руфаилу: «Свяжи Азазела по рукам и ногам, и положи его во мрак; сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудаеле, и опусти его туда. И положи на него грубый и острый камень, и покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет». Перепись отверженных ангелов с обозначением их специальностей, встречается у Еноха дважды. Интереснейший из всех – Пенемуэ: «Этот показал сынам человеческим горькое и сладкое, и показал им все тайны их мудрости. Он научил людей письму чернилами и употреблению бумаги, и чрез это многие согрешили от века и до века и до сего дня. Ибо люди сотворены не для того, чтобы они таким образом тростью и чернилами закрепляли своё слово». Итак, горемычный дух грамотности имел на себя гонение, можно сказать уже предвечно, и – едва ли не по той же самой логике, что и сейчас, едва ли не по тем же причинам.

Римской религиозной системе, с её отвлечённым дроблением идеи божественного действия на тысячи стихийных, житейских, государственных и этических гениев-покровителей, и с терпимым допущением ещё широчайшего дробления антропоморфических верований народных, оставалось лишь столковаться относительно родового имени воздушных сил, чтобы воспринять восточное учение о демонах и ангелах и мало-помалу передать им, в строгом распределении имён и дела, все функции и прилагательные по ним прозвища своих старых богов. Если вспомнить персонал римского пантеона, хотя бы по укоризненному реестру бл. Августина: Клоапину, богиню сточных труб, Волюпию, покровительницу чувственного удовольствия, Купину, богиню колыбелей, Рузину, богиню пашни и т. д., то уже мелкая специализация их обязанностей в мировой машине должна была подсказывать римлянину, – в особенности, знакомому с этрусским и с восточными культами, с монистическою и демоническою теологией, – что богам этим место отнюдь не на небесах, а где-то тут же, близ человека, под рукою у нуждающихся в их помощи, в атмосфере земли «между землёю и луною», в разряде демонов. Сеия была богинею семян, пока они в земле и не взошли ещё, Сегезия – богиня тех же семян, пустивших ростки, а Тутилина – покровительница их же, собранных в амбары. Были особые боги для каждого фазиса женской беременности, для каждой физиологической функции. Вор, проститутка, барышник, ростовщик – все становятся под охрану специального бога. «Наша страна, – говорит Петроний, – до того населена богами, что встретить бога куда легче, чем человека». Как бы в подтверждение, Апулей, представитель демонической теософии платоников, уверяет, что пифагорейцы очень удивлялись, когда кто-либо говорил им, что никогда не встречал демонов. По Плинию, «народ бессмертных превышает число людей». Варрон пространно исчисляет специально римских богов, управляющих человеческими судьбами, начи-

ная с Януса, открывающего нам двери жизни, и кончая Ненией, поющей на наших похоронах. На один свадебный обряд приходится смена из девяти покровителей.

Им молились в язычестве, по расписанию, совершенно с таким же крепким убеждением, с каким русский мужик молится о здоровье скота не какому-либо другому святому, но непременно св. Власию, перенося на него, по созвучию имён, миссию древле-славянского Велеса, о конях – свв. Фролу и Лавру, об исцелении блудные страсти – св. Моисею Угрину, о снятии запоя – св. Вонифатию, ибо он понимается, как «Винохват» и т. д. В крепостные времена Плюшкины и Коробочки с не меньшею верою служили молебны и ставили свечи св. Иоанну Воину – о поимании бежавшего раба. Явления, в которых сказывается посредствующая роль демонического, но доброго начала, по изложению Плотина, весьма многообразны, но, в числе прочих, особенно выразительными признаёт он те, что избирают органами своего действия именно статуи богов. В природе, говорит Плотин, существует закон симпатии, по которому всё родственное имеет взаимное влечение. Поэтому статуя, сделанная сообразно с представлением о божестве, по необходимому закону симпатии, привлекает в себя божественную силу, – вот что и создаёт её святость. Теория Плотина, повторяющая и распространённо поясняющая магическую Трисмегистову формулу происхождения идолов чрез демоническое откровение типа богов, была усвоена христианством тем легче, что наилучшие и наивлиятельнейшие писатели новой церкви, во втором и третьем её веках, были учениками и товарищами платоников. «Ваши боги, – укоряет Иустин Философ, – имеют имена и виды злых демонов, которые являлись людям». Любопытна живучесть этой античной гипотезы. Она имеет сочувственников даже в почти современной нам мифологической литературе прошлого века. Курьёзная книжка некоего Albert Duruy de Bruignac, вышедшая в 1864 г. в Париже, под заглавием «Satan et la magie de nos jours», даёт богатейший свод подобных мнений, тем более любопытный, что сам Дюрюи де-Брюиньяк – искреннейший демономан: он даже средневековые процессы колдунов и ведьм считает делом справедливым, законным и душеспасительным. Заимствую несколько указаний из его любопытной коллекции. Крейпер и Дёллингер заявляют самым решительным образом, первый об идолах, второй об их культе, что никогда бы не дойти человеку до такой премудрости, если бы боги не дали ему намёка на свои формы и на свои вкусы, как кого ублажать. Боги воплощаются в эмблемы, ими самими избранные, им самим угодные. Отсюда необъяснимые странности многих изображений, обрядов, жертв: демонические капризы и симпатии заставляют людей выражать своё богопочитание в специальных для каждого божества формах и веществах, совсем необычных в человеческом обиходе: один требует в жертву себе ворону, другой прилетает на запах львиной или волчьей печени, третий желает, чтобы, молясь ему, люди ранили своё тело и проливали слёзы, четвёртый, чтобы, наоборот, все веселились, смеялись и проделывали всяческие шутки и дурачества. Сюда же надо отнести, согласно намёку Гермеса Трисмегиста, египетское поклонение священным животным – символический культ, над которым, по словам Филона, издевался каждый новоприезжий в Египет европеец, но не проходило и года, как насмешник приучался вполне сознательно и очень серьёзно воздавать должное почтение собакоголовым и быкоподобным чудовищам мифологии древней страны пирамид. В числе иностранцев, покорённых египетскими чудищами-богами, были такие крупные умом и талантом люди, как триумвир Марк Антоний, Германик, Веспасиан. Чтобы разобраться в мире чудес, – советует Крейпер, – необходимо сделать шаг назад, к древней доктрине гениев: без неё нет возможности поднять завесу с таинства. В восемнадцатом веке неверующий Буланже, при всём своём скептицизме, проговаривался, что допускает демоническое откровение и участие в идольском служении. По крайней мере, он нашёл возможным серьёзно считаться с легендою о ежегодном возмущении вод кумиром гиерапольского храма. «Может быть, – гадательно предполагает он, – и в самом деле бывало там какое-нибудь чувственное проявление божественной силы, подобно тому, как свершалось оно в тот же самый день, в Святая Святых Иерусалимского храма»…

Сообразно с природою и деятельностью своею, одни из демонов – ласковые и красивые на вид, другие безобразны, злобно уродливы. Порфирий показывал ученикам своим Эрота и Антиэрота в виде двух прелестнейших детей. В Филостратовом романе об Аполлонии Тианском, этот пророк предсказывает эфесянам чуму, если они не улучшат своих нравов. Эфесяне остались глухи к проповеди мудреца, и он удалился в Смирну. Когда в Эфесе, действительно, началась чума, жители умолили фауматурга вернуться в заражённый город. Встреченный толпами благодарных эфесян, Аполлоний внезапно потребовал, чтобы один из народа – старик-нищий, бледный, безобразный, с гноящимися глазами, в лохмотьях, с сумою, – был побит камнями, как «враг богов». Повеление всесильного чудотворца было исполнено беспрекословно; нищего погребли заживо под грудою камней, а, когда. по приказу Аполлония же, её разрыли, то, вместо нищего, нашли труп огромной собаки, с пастью, ещё полною пены. То был демон чумы. Зараза в Эфесе прекратилась. Тут мы присутствуем при явлении, обратном выходу Мефистофеля в «Фаусте» Гёте. У последнего «пудель разрешился демоном», у Аполлония Тианского демон разрешился пуделем. Кстати, об этой сцене. Если вспомнить, что, по учению неоплатоников и христианских теологов-апологетов, главная специальность злых демонов – искажать правое вероучение, содействовать введению ложных религий, ересей, сект, порче священных обрядов и преданий, – нельзя не подивиться остроумию и прозорливости, с какими Гёте заставляет Мефистофеля сойтись с Фаустом как раз в ту минуту, когда последний пытается изменить, по своему разуму, первый стих Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово».

5

Кто же такие, по роду и племени своему, эти демоны, чью реальность одновременно признали и международный пантеон эллино-римского язычества, и Филон с александрийскими иудеями, и неоплатоники, и христианские теологи? Каково их родословие? На это отвечает нам Иустин Философ. «Бог вверил попечение о людях и поднебесном поставленным на это ангелам. Но ангелы преступили это назначение: они впали в совокупление с жёнами и родили сынов, так называемых демонов, а затем, наконец, поработили себе человеческий род частью посредством волшебных писаний, частью посредством страхов и мучений, которые они наносили, а частью через научение жертвоприношениям, курениям, возлияниям, в коих сами возымели нужду, поработившись страстям и похотям; и они посеяли между людьми убийства, войны, любодеяния, распутство и всякое зло. Поэтому и поэты, и мифологи, – не зная, что всё, ими описываемое, делали с мужчинами и женщинами, городами и народами ангелы и рождённые от них демоны, – приписали это Богу и сынам, родившимся от семени Его, так и от называемых Его братьев Посидона и Плутона, а равно и от детей их. Поэтому они каждого называли таким именем, такое кто из ангелов давал себе и своим сынам». Раввинское сказание также объясняет причину проклятия прегрешивших ангелов их чувственностью: они наказаны за похотение к телам умерших женщин. Таким образом, демоны или падшие ангелы, или дети их, «сынов Божиих», от «дочерей человеческих», – души библейских исполинов, которым у Гесиода соответствуют люди золотого века: тридцать тысяч гесиодовых богов-демонов – души людей, живших в золотом веке. «Исполины, – вещает лже-Енох, – которые родились от тела и плоти, будут называться на земле злыми духами, и на земле будет их жилище. Злые существа выходят из тел их; так как они сотворены выше и их начало и первое происхождение было от святых стражей, то они будут на земле злыми духами, и будут называться злыми духами. И духи неба имеют своё жилище на небе, а духи земли, родившиеся на земле, имеют своё жилище на земле. И духи исполинов, которые устремляются на облака, погибнут и будут низринуты, и станут совершать насилие и производить разрушение на земле, и причинять бедствие: они не будут принимать пищи и не будут жаждать, и будут невидимы». Эти мысли аскета-иудея, в разных оттенках и с разными вариантами в подробностях, но обще по существу, повторяют христиане Афинагор Афинянин, Климент Александрийский, Минуций Феликс, Тертуллиан, Татиан. По-видимому, древнейшие христианские учители, напр. Иустин, считали в демоническом сонмище и души злых умерших людей. Но это мнение было сочтено опасным, так как чересчур тесно сближало теорию о демонах с народным римским культом, воздаваемым diis manibus. Культ же манов и без того был настолько могуч и привычен римлянину, что надписи в честь их попадаются даже на заведомо христианских могилах. Поэтому последний из вышеупомянутых писателей-христиан, Татиан, усилено настаивает, чтобы «демонов, которые повелевают людьми», не принимали за души умерших людей. Он не допускает мысли, чтобы человек, который при жизни был неразумен и слаб, по смерти получил более могущественную силу. Душа, по его мнению, не сделается умнее, отделившись от тела. Тем не менее, уже необходимость настойчивых предостережений от такого поверья свидетельствует о его изрядной распространённости. Да иначе и быть не могло, – при указанном условии широкой властности в эллино-римском мире культа усопших предков. Классификация незримого народа духов была, конечно, всегда делом и знанием только теологов, теософов, философов, жрецов, магов, – вообще, учёных специалистов. Массе некогда разбирать демонические корни и разряды; она их обобщала. Да и мудрецы древности весьма часто становились на сторону народного воззрения. Так, у Филона мы видим прямое утверждение, что души, демоны и ангелы, хотя и носят различные имена, но по существу своему тождественны. Мнение Плутарха и Апулея, что демон есть душа, свободная от материи, а душа есть демон, увязший в материи, мы уже знаем. Убеждение, что человек, умирая,

может остаться в природе в виде демона доброго или злого, свойственно всем мифологиям. Тэйлор в известном своём труде о первобытной культуре даёт превосходный свод верований о том индусов, малайцев, краснокожих Северной Америки, африканских негров и т. д. Изложение суеверий, связанных с этим взглядом в славянских мифологиях, могло бы занять целые тома. Как общеизвестный образец, достаточно будет напомнить сказки об упырях и русалках. Веровали, что человек сохраняет за гробом свой характер: добрая душа – и в демонах добра, злая – и в демонах свирепа. Души мёртвых, подобно демонам, или, лучше сказать, потому что они становятся демонами, имеют дар прорицания. Мы встречаем это твёрдое и постоянное убеждение не только в политеистических религиях, которые, по меткому замечанию бл. Августина, все вертятся около культа мёртвых, но и в иудаизме. Библия порицает Саула за гадание у Аэндорской волшебницы, но признаёт, что тень пророка Самуила, действительно, говорила со злополучным царём и правдиво предсказала ему грозную судьбу его. Учители и отцы христианской церкви были очень внимательны к эвгемерическому толкованию языческой мифологии, которое позволяло им рассматривать все божества паганизма, как действительные лица далёкого доисторического прошлого, обоготворённые после своей смерти. В доказательство, что все ложные боги – не более, как демонические мертвецы, Тертуллиан предлагает вызвать их из ада чрез искусного заклинателя, – и они, повинуясь, придут и будут свидетельствовать о себе, кто они таковы. Но напрасно было бы звать и заклинать Иисуса Назорея, Истинного Бога: Он был в аду только три дня и т. д.

К мнениям о демоничности мёртвых тесно примыкает римское государственное учение об апофеозе государей. Вознося на Олимп и Капитолий мёртвых императоров своих, строя им храмы и принося жертвы, Рим обожествлял, собственно говоря, не самих царственных покойников: молились и курили жертвы гению цезаря такого-то, божественному духу, жившему в нём и, по исходе из тела, продолжающему быть таким же могучим демоном, как являл он себя при жизни в теле. Как известно, апофеоза императоров была не только посмертною, очень часто она начиналась ещё при их жизни. Тиберий, слишком рассудительный скептик, чтобы принять обожествление заживо, не воспрепятствовал, однако, построить храм в честь своего гения на дальней азийской окраине государства, – то есть позволил некоторой части своих подданных стать под демоническое покровительство того же гения, что покровительствует ему самому. Сенаторы, разыгрывая роль вдохновлённых свыше, бегают по улицам Рима и предлагают встречным посвятить себя за компанию с ними имени того же Тиберия. Калигула заменяет своею головою голову Юпитера: это значит, что он ставит своего гения выше великого капитолийского бога. Что пример безумного цезаря не был исключительным юродством, показывают некоторые сенаторские процессы об оскорблении величества. Один из них возник из-за того, что некто, при перемене принцепса-правителя, заменил на статуе Августа голову покойного императора головою его преемника Тиберия. Другой вольнодумец придал Юпитеру своей домашней божницы черты своего собственного лица, то есть стал поклоняться, как высшему богу, личному своему гению, – замечу кстати: существу, признанному священным даже юридически, так как клятва гением господина считалась столь же ответственною присягою для рабов его, как клятва гением императора для самого господина.

Так как подобный же, хотя и меньшей силы, дух присущ каждому человеку, то древняя религия, в целях расширения культа и чтобы сделать его для приверженцев более интимным и, так сказать, осязательным, позволяла и давала им возможность фабриковать себе новых демонов, связуя с изобретением их, конечно, и новых идолов. Положительный, скептический Цицерон, чьи сочинения позднейшее языческое ханжество объявило нечестивыми и предлагало к сожжению вместе с Пятикнижием, – этот Цицерон верил в возможность обоготворить умершую дочь свою Туллию, как ученейшую из женщин, и собирался воздвигнуть ей храм, доступный не только его личному, но и всеобщему поклонению. Божественный гений дан каждой душе, и каждый гений, при благоприятных обстоятельствах, может выслужиться в «внемлю-

щего бога». Этрусское учение о подземных богах знало секреты специальных молитв и обрядов, которыми умерший человек превращается в божество. Римский учёный Лабеон пересадил теорию этрусков на римскую почву в своём трактате De diis animalibus, то есть о душах смертных, ставших богами. Собственно говоря, и этот взгляд на загробное усовершенствование духа чрез молитвы благочестивых родственников и священства не исчез, но только выродился в христианстве, став скромнее в претензиях: католическое верование, что церковными обрядами можно выкупить грешную душу из чистилища и упокоить её в раю, по идее, совершенно тождественно с учением этрусков и теорией Лабеона. Несомненно, что обряды, обожествляющие умершего, справлялись при апофеозах, как частных лиц, так и при императорских. Лукиан со злостью рассказывает об апофеозе философа Перегрина, кончившего жизнь самосожжением на костре близ Олимпии: роль орла, уносившего на Олимп царственные души, в данном случае, заменил более демократический коршун; души императриц вверялись павлинам Юноны или голубкам Венеры и т. п. Тому обстоятельству, что, сравнительно с императорскими апофеозами, мы имеем мало оглашённых примеров обожествления частных лиц, нельзя удивляться. Нельзя и ссылаться на него, как на особенно яркое доказательство раболепства и льстивости народа римского в отношениях его к верховной власти. Подобные ссылки делаются часто, но напрасно. Не следует забывать, что канонизация умершего императора, при всех злоупотреблениях ею, всё-таки, оставалась чем-то вроде суда народного над правлением и личностью покойного. Весьма многие императоры (Тиберий, Гай Цезарь, Нерон, Домициан и т. д.) остались без апофеоза вовсе. По отношению к другим, недостойным быть святыми, напр. к Клавдию Цезарю, к Друзилле, сестре-любовнице Калигулы, к Поппее Сабине, супруге Нерона, обряд апофеоза, хотя и был совершен, но не получил действительной силы; новые угодники не привились народной вере и, продержавшись некоторое время в чести в угоду династии и под её угрозами, затем быстро пришли в полнейшее забвение. Культ Клавдия был осмеян и пренебрежён уже во вторую половину правления Нерона. Культ Поппеи Сабины и маленькой её дочери от Нерона умер вместе с Оггоном и Вителлием. Можно думать, что многие апофеозы свершались только формально, то есть без цели и без надежды, что новый святой может быть серьёзно принят народным чувством. В таком случае, церемония канонизации оказывалась просто специальною подробностью очень пышных и торжественных похорон «по первому разряду». Не думаю, чтобы стоило особенно усердно настаивать в укорах религиозным раболепством против эпохи, когда подданный, обращаясь к своим государям с просьбою о разрешении свободы совести и веры, находил возможным и безопасным прибавлять от себя в конце императорского титула: «и что всего важнее, философам». Конечно, лесть и угодничество царствующей династии играли в апофеозах весьма важную роль. Но обожествление гения императорского предполагалось более всякого другого естественным уже по соображению о предполагаемой иерархии духов: демон, сошедший одухотворить тело властелина вселенной, почитался более сильным, благородным, близким к первоисточнику жизни, Божеству, чем гений частного лица. Не поспешим осуждать древних в холопстве и за этот демонический табель о рангах: разве в теологии христианской не было великого Лютера с его наивнейшею уверенностью, что графу даётся Богом ангел-хранитель лучше, чем простому дворянину, князю лучше, чем графу, королю лучше, чем князю и т. д.? Римляне верили в божественное осенение лиц, получающих высшую власть над странами и народами. Избранный в императоры, Веспасиан внезапно оказался чудотворцем. Пред тем, как провозгласить себя императором, Юлиан Отступник имел видение: гений империи стучал в двери его покоя и с нетерпением просил дозволения войти к нему. Однако, ни об одном из своих императоров религия и философия Рима не делали предположений, чтобы тела их были воплощениями высшего божества, а не просто сильного демона. Единственным исключением надо, пожалуй, считать основателя империи, Августа, который был не только официально обожествлён, но и в самом деле стал почитаться в народе, как любимое божество, новый, местный римский Юпитер. Да

и то философы, начиная Сенекою и до Юлиана Отступника включительно, подсмеивались над его апофеозом, а за апофеоз Юлия Цезаря называли его «кукольным мастером». Если Калигула и Коммод заставляли подданных поклоняться им, как Юпитеру и Геркулесу, то были капризы властных сумасшедших, которые, как капризы, понимались, принималась и формально исполнялись, покуда императоры-безумцы были живы, но немедленно прекращались по их смерти, нередко с грубейшим мстительным поруганием покойных. Да и живому Калигуле, – когда он, в костюме и при всей обстановке театрального Юпитера, задал вопрос одному галлу-сапожнику: «Кем я тебе кажусь?» – пришлось выслушать откровенный ответ: «Самым большим дураком на свете». Известно, что он дерзость эту пропустил мимо ушей, не захотев или не посмев её преследовать. Между тем Афинагорово «что главное философам» – превозношение мудрости, как внутренней благодатной силы, над внешнею силою земной власти – ясно выразилось не только в лёгкости, с какою христианские новообращённые из язычества принимали культ святых и мучеников, резко противоположный в принципе своём культу императорскому, но и в деталях многих софистических канонизаций. Когда Аполлоний Тианский исчез без вести, Эфес объявил его земным воплощением бога Геркулеса Алексикака. По рассказу Порфирия, один египетский жрец осмелился вызвать дух великого неоплатоника Плотина. Каково же было изумление заклинателя, когда, вместо обыкновенного демона, пред ним явился сияющий высший бог? Что значит гений сильный, гений слабый, – наилучше уясняет история борьбы триумвиров Антония и Октавиана. Первый, по видимости, был одарён природными талантами богаче своего соперника, но гений Антония был слабее гения Октавиана, боялся его и терялся пред ним. После битвы при Акциуме гений Антония вовсе отказался бороться с гением Октавиана. Мы всю эту историю сводим к метафорической игре словом «гений», но Рим-то понимал её буквально, как буквально же утверждали его поэты, что в помянутой великой битве не только Октавий победил Антония и Клеопатру, Запад – Восток и Рим – Египет, но и исконные святые божества, пенаты римского народа, победили чудовищных богов египетских.

От обожания человека, тем паче мёртвого, в таинственном, вечно присном гении его, – один шаг до веры, что гений или демон могут вселяться в тело мертвеца, прорицать его устами, творить чудеса от его имени. Раввинское предание, перешедшее через послание св. Иуды и в христианскую литературу, рассказывает о споре архангела Михаила с дьяволом из-за тела Моисеева. «Князь вещества» стремился овладеть трупом великого пророка, чтобы, вселясь в него, создать в Израиле ложный предмет поклонения – как бы телесный кумир-оракул, лживо глаголящие мощи. Ещё Эвгемер указывал, что культ развивается, по преимуществу, вокруг могилы великого мертвеца, принимаемого потомством за бога. Таково, по мнению его, начало поклонения Юпитеру на Крите. Мёртвый Тот, отец Гермеса Трижды великого, именно с момента смерти своей, становится из простого учёного медика лекарем чудотворцем, приняв в свои останки, вызванного поклонниками, демона. Пророчествуя будущую гибель языческих святынь, Трисмегист, как подметил ещё св. Августин, очень выразительно обличил, в чём, собственно, святыни эти заключались: «Тогда страна эта, святейшая отчизна капищ и храмов, будет переполнена гробами и мёртвыми». Бл. Августин отнёс смысл этих слов к предчувствию Гермесом будущего почитания в Египте христианских мощей. Но Трижды великий мудрец просто предсказывает здесь, что, как скоро свет божественных истин, которые он сам излагает и исповедует, разольётся по земле, сила демонического посредничества отживёт свой век, демоны отступятся от своих обиталищ и изваянных органов, и, таким образом, последние снова станут тем, что они и суть на самом деле, то есть гробами, трупами, заключёнными в них, и изображениями мертвецов. Иногда почтение к демоническому мертвецу побеждало чисто божественные культы. Так было в Таренте, где Гиацинт из светлого солнечного бога превратился в мёртвого демона, и предметом культа стала, вместо благого солнца, его предполагаемая могила.

Гермес Трисмегист упоминает о терафимах – маленьких статуях, предвидящих будущее; перейдя в талмудическую литературу, поверие это повторяется у Маймонида. Вот описание

фабрикации магических терафимов, сделанное Уголином, якобы по преданию от Гамалиила, члена синедриона, участника суда над Христом и учителя апостола Павла. «Убивали новорождённого младенца, отрубали ему голову; на язык её сыпали соль, помазывали его елеем, а под язык клали маленькую золотую пластинку, с начертанием имени злого духа. Затем, повесив голову на стене, возжигали перед нею лампады, простирались ниц, вопрошали и получали ответы». То есть – пред нами опять-таки демоны-оракулы, искусственно воплощаемые в мёртвых, такие же, как в неоплатонической и герметической легенде.

Мы знаем из Библии о глубокой древности терафимов, хотя те, о которых мы знаем, вряд ли были таковы, как описывает Уголино: в жестоком процессе изготовления, им изложенного, чувствуется влияние при-Евфратской магии, стало быть, пленения вавилонского. Библейские терафимы, по всей вероятности, были просто глиняные куклы-фетиши, почитавшиеся одушевлёнными чрез силу магического слова или знака, начертанного у них на лбу, в каком знаке и полагалась вся их демоническая сила. Божки эти, заимствованные из культов хананейских, либо у кочевых аравийских и месопотамских племён, не раз врывались в святую религию Яхве, великого Бога Израиля. Примеры Рахили, укравшей терафимы из домашней божницы Лавана себе в приданое, и Михи, в эпоху судей открывшего частную молельню, где наёмный левит служил одновременно и Яхве, и терафимам, указывают, что божки-пророки довольно мирно уживались в иудейском народе с господствующею идеею однобожия, получив в культе значение полубожественных существ, более доступных и близких человеку, чем единое верховное Божество. Это демоны-посредники, с которыми проситель может держаться более интимно, добиваясь себе от них не той фатальной, провиденциальной милости, какой Бог хочет, а той, какую предсказывает в данный момент собственный интерес, личная страсть. Соединённое служение Михи и Богу, и терафимам представляет собою, на почве древнего иудаизма, характерный зачаток того, что впоследствии стало называться феургией, как благороднейшая, философская часть магического обряда, магической науки, имевшая целью приближать человека к Богу чрез посредство демонических сил.

Суеверие о терафимах в том виде, как передал его Уголино, выродилось в средние века в сказку о мнимом употреблении евреями христианской крови. Осложнённая внушениями религиозного фанатизма и расовой ненависти, сказка эта стоила Израилю моря крови и бедствий. Но в античные времена, о которых идёт речь в настоящем этюде, обвинение в ритуальном пролитии младенческой крови тяготело на самих христианах, – и, для некоторых восточных сект, заражённых магиею под фантастическими формами псевдо-гнозиса, по-видимому, не вовсе безосновательно. Вообще, жертвенное убийство детей, с предсказательными целями, сделалось неизбежною принадлежностью всех легенд о тайных обществах не чуждых религиозной или магической окраски, до нашей хлыстовщины и до масонства включительно. В особенности усердно клеветали на те общества, которые вели свою родословную от восточных культов и мистерий. Возникновение в Риме конца республики, в эпоху Цезаря и Цицерона, неопифагорейского союза не замедлило встретить грозного врага в распространившейся молве о детских жертвоприношениях, которые, впрочем, кажется, и впрямь совершались одним знатным суевером, по имени Ватинием. Гадания по детским головам и внутренностям, равно как вскрытия живота беременных женщин, приписывались многим историческим лицам, – обыкновенно, имеющим общую репутацию жестокости и злонравия. В числе таких лиц поминаются Нерон и Юлиан Отступник, – впрочем, обвинения против обоих очень шатки; что же касается Юлиана, то даже наверное можно утверждать, что это тенденциозная клевета, взведённая на языческого императора-философа усердием христианской оппозиции. В средние века ритуальное детоубийство сделалось принадлежностью сатанического культа и чёрной обедни, подробности которых были оглашены слишком хорошо известным и часто цитированным ужасным процессом Жиля де Ретц, маршала Франции, сподвижника Жанны д'Арк, послужившего прототипом для героя знаменитой сказки о Синей Бороде. Дух невинного маленького мертвеца – по кате-

хизису чёрной магии – лучший помощник заклинателя и вернейший прорицатель. Великий знаток таинств души и веры народной – Шекспир отразил этот сумеречный бред в непогрешимом зеркале своего гения, когда заставил своего Макбета придти в пещеру ведьм, чтобы выслушать двусмысленные предсказания из уст двух детских призраков – ребёнка в короне и ребёнка в окровавленном саване.

6

Естественная история демонов весьма неустойчива. В своей полемике с языческими переживаниями, в знаменитом «Граде Божием», бл. Августин возражает, по преимуществу, на демонические определения Апулея. Отсюда позволительно заключить, что на закате язычества эти платонические определения в нём возобладали. По крайней мере, несмотря на отдалённую древность Апулея, как платонического вероучителя, и сравнительную слабость его в этом качестве, бл. Августин посвящает ему внимания столько же, как Порфирию, Плотину и древнейшему систематизатору римской мифологии, Варрону Реатинскому. Апулеево определение демона гласит: «Демоны по роду животные, по душе – подвержены страстям, по уму – разумны, по телу – воздушны, по времени вечны; из этих пяти свойств три первые у них те же, что и у нас, четвёртое исключительно им принадлежит, а пятое обще у них с богами». Но Апулеева формула – далеко не общепринятый и непогрешимый догмат. Демонов считали то вполне духовными, то полутелесными, то бессмертными, то лишь чрезвычайно долговечными. Решение вопросов колебалось в зависимости от того, насколько язычник, задаваясь ими, сохранял ещё привязанность к антропоморфическому политеизму, к его легендам, к его искусству. Платоники христианской эры относились к народной идольской вере не более, как с терпимостью. «Гораздо нечестивее верить россказням черни о боге, чем не прибегать к его кумиру», – говорит Порфирий. Максим Тирский сожалеет, что нельзя создать новой расы, которая не знала бы идолов. Но, раз уже идолы существуют, лучше их сохранить. Они не нужны богам, но необходимы людям, недалёким в уме и беспечным размышлять о божестве. Плутарх восстаёт против антропоморфических представлений божества со всею энергией своего блестящего слова. «Между богом и человеком нет ничего общего – ни в природе, ни в действиях, ни в искусстве или силе, и, если он делает что-либо, чего не сделать нам, исполняет то, чего не исполнить нам, в этом нет ничего невероятного: отличаясь от нас во всём, он, главным образом, отличается от нас, не имеет сходства с нами, по своим делам». Стоя так твёрдо на духовной точке зрения, Плутарх не верил, чтобы идолы, населённые демонами, могли говорит членораздельно, так как «душа и бог не имеют органически устроенного тела, не имеют голосовых аппаратов, которыми могли бы издавать громкие звуки и говорить». Случаи, когда кумиры произносили будто бы целые связные фразы, Плутарх относит к галлюцинациям самовнушения верующих. Но демонические статуи могут потеть, плакать, точить кровь, так как подобие тела у них имеется. Если от статуи слышен стон или плач, это явление чисто физическое: значит, внутри кумира произошёл быстрый разрыв или разделение частиц. Любопытно, что подобною же гипотезою до сих пор ограничивается наука в объяснении знаменитого чуда «поющей статуи Мемнона»; камень колосса, охлаждённый за ночь, мгновенно нагревался лучами восходящего солнца, и быстрое расширение теплом частиц его поверхности вызывало пресловутый таинственный стон, похожий на звук огромной, лопнувшей струны. Почему Мемнон перестал звучать после того, как благочестивый император Септимий Север починил его, – остаётся открытым вопросом. Не более сверхъестественного усматривает Плутарх в плесени, пятнах от сырости, случайной окраске, которые иногда принимают идолы от среды, их окружающей, хотя суеверы склонны и во всех таких атмосферных воздействиях видеть вещие знамения. Рассуждая о Дельфийском оракуле, Плутарх настаивает, чтобы Аполлона не смешивали с личностью Пифии, говорящей от его имени: ему в оракуле принадлежит только пророческое вдохновение, – голос, форма предсказания, размер стихов исходят от личных свойств жрицы. Вот, чем объясняется та соблазнительная странность, что стихи оракула, хотя истекающие от бога поэзии, частенько бывают хуже Гомеровых. Лет сто спустя после Плутарха, оракулы обессилели говорить даже и дурными стихами. Пророческая поэзия стала беречь себя до скаредной скупости. О стихотворном ответе разносится всесветная молва, как о редкости из редкостей, как

о необычайно милостивом внимании божества. Обыкновенным смертным и в обыкновенных случаях жизни, Дельфы, Додона, пещера Трофониева, Эскулап, Серапис не отвечают иначе, как прозою. Александр из Абонотейха, учредив свой собственный оракул бога Гликона, таксировал стихотворные ответы его дороже прозаических – наподобие современных редакций периодических изданий, также оценивающих строку стихов значительно выше строчки прозы. Бл. Августин подсмеивается, что даже в ответе на столь важный для язычества вопрос, как бытие и существо Иисуса Христа, дельфийский бог не сумел выдержать стихотворного размера. Из прочих знаменитых оракулов, Аполлон Спондий и Веста Фарийская, не отвечали вовсе, а предлагали принять, в качестве пророчества, первые слова первого прохожего, которого вопрошающий встречал по выходе из храма.

Собирая факты и мнения философской деятельности и литературы, необходимо придти к несомненному выводу, что, если бы для язычества не настало время разрушиться вовсе, передав господство над миром государственному христианству, то, всё равно, оно стояло в необходимости резкой внутренней реформы, и последняя, конечно, была бы, прежде всего, идолоборческою. Начиная с Цицерона и Варрона, римская философия не перестаёт открыто заявлять свою антипатию к вещественным олицетворениям божества. Сто семьдесят лет, когда боги древнейшего Рима чтились без статуй, невидимками, прославляются, как период чистейшей религии; одобряется иудейское отвращение к идолам; «первые, поставившие для народа статуи богов, уничтожили в своих государствах страх и увеличили заблуждение». Знаменита сентенция Варрона: «Первых богов родил страх», «primos deos fecit timor». Страх есть незнание. Демоническое незнание сопровождалось страхом демонов. Христиане звали язычников «демонобоязненными» и учили, что таково же демонобоязненным был весь мир до земного пришествия Христова, с которым демонский произвол в человечестве окончился, и демоны сами познали власть и страх над собою. Боязнь демонов, происходящую от незнания их, ослабило то феургическое знание, которое ввело в употребление идолы, как симпатические образы и символы демонов. Нуме приписывается, что он узнал фигуры богов чрез гидромантию, гадание водою. Философия рассматривала это, в смягчение религиозного страха предложенное, сомнительное знание, как ложное ухищрение суеверия и искусства, как религиозный и поэтический обман и самообман, источник злейших заблуждений о божестве, благочестии и нравственности, коренную причину развращения умов и народов. Консерватизм привычки и малая охота к прозелитизму оставляли философские взгляды теорией, не умирающей, но и не переходящей в практическую жизнь. Облечённая в идеи монистические и пантеистические, она создала в античном обществе нечто вроде аристократии духа, которая, одна зная или почитая себя знающею истину, с гримасою смотрела на суеверия многобожной черни, блистательно разоблачала их нелепость, опровергала и высмеивала, но делала всё это наедине с самою собою. Даже в четвёртом веке, – столь роковом для язычества, и в культах его, и в философии, – формы последней не возвысились от привычного, замкнутого в тесном кружке, рассуждения до гласной и широкой проповеди-пропаганды. Теософия продолжала жить для самой себя и в самое себя: прекратить нелепости многобожной системы, повернуть общественную веру в свою сторону она не умела и не хотела, считая суеверия старых преданий и обрядов государственно необходимыми для народных масс и даже не брезгуя сама принимать в них видимое, якобы символическое участие.

Мнение Плутарха – о невозможности для демонов отправлять телесные функции, за неимением соответствующих таковым органов, следует сопоставить с платоническим учением о шарообразности небесных тел, которое в христианстве принимал ученик неоплатоников, великий Ориген. Он считал нелепым и нечестивым суждение, будто телесные члены даны существам небесным полностью, то есть и внешне зримые, и внутренние, так как последними им делать нечего, по отсутствию у них телесных потребностей, и, следовательно, награждая ими существа, в них не нуждающиеся, Промысел Божественный изменил бы принципу целе-

сообразности творения, за который крепко держалось христианско-платоническое богословие первых веков. Ещё более нелепым находил Ориген предположение, будто «у внемирных существ, как в статуях, лишь внешность человекообразна, а не внутренность». Оправдатели правоверия Оригенова говорят, что, в своём замечании о «небесных телах», он имел в виду не духов, населяющих небо, но светила. Это, может быть, и так, но не исправляет дела, потому что светила-то небесные Ориген считал демонически одушевлёнными. Из падших ангелов души, наиболее виновные, были посланы Богом в тела человеческие, менее виновные – в тела благородные: в солнце, луну, звёзды. Выше было говорено об Оригеновой теории совершенствования всех тварей, не прекращаемого смертью: спасение доступно и грешнейшему из грешных и даже дьяволу. Классификация виновных ангелов по степени их виновности и сообразному с нею месту для исполнения наказания развивает те же самые идеи. Легко заметить тесную смежность их с пантеистическими воззрениями, и, действительно, Ориген никогда не мог стряхнуть с себя привычку к последним с полною силою и убеждением. Слишком строгие и придирчивые судьи не прочь искать в его сочинениях намёков даже на переселение душ, которое признавала старая Академия с Платоном, но от которого счёл за лучшее отречься неоплатонизм с Порфирием.

Деля душевные существа на богов, демонов и людей, Апулей размещал их в мире по обратному вверх от земли порядку, сообразно весу их и принижающей силе земного притяжения. Душа, увязшая в теле, человек, прикован к земле; душа без тела, тонко материальная оболочка богато одарённого, но подобного человеческому, духа, демон, реет в области между землёю и луною; душа совершенная, существо чисто духовное, непосредственный луч от сияния верховного Единого Божества, «бог», блаженствует в высших эфирно-огненных сферах неба. Демон – величина весомая, образец и как бы даже показатель точного равновесия в природе: лёгкое духовное начало его состава, часть божественная, не позволяет ему пасть на землю, чтобы влачить на ней существование, подобное человеческому; тяжёлое материальное начало, часть телесная, не позволяет ему свободно подняться в горние, приковывает его к земной атмосфере. Если позволено будет употребить в беседе о предмете столь возвышенном уподобление низменное, то, по учению неоплатоника Порфирия, демон оказывается чем-то вроде отсыревшего ангела. Влага, которою он пропитывается в воздушном пространстве, придаёт ему тяжеловесность, препятствующую добираться до ангельских высот. «Они по неразумию вбирают в себя влажные испарения, и потому живут не в эфире, а в воздухе под луною и на самом шаре луны».

Предполагалось, что демоны имеют пол и способны к плотской любви. Раввинское предание утверждало, что они брачутся и плодятся. Плутарх объясняет ревнивыми порывами демонов, неудовлетворённых в половом отношении или неспособных к плотскому общению с земными предметами своей страсти, свирепые требования, учредившие обычай кровавых жертвоприношений, – в наслаждении убийством они получали замену наслаждения любовью. Мысль очень глубокая и странно соответствующая положениям современной психопатологии, что половое бессилие часто переходит в кровожадность и страсть к преступлению. Случалось, обратно, и демонам становиться невольными жертвами человеческих похотей: на острове Крите показывали безголовую статую Молона, отца Мерионова, – он изнасиловал нимфу, и демоны сорвали с него голову. Аполлоний Тианский обличил в невесте одного юноши эмпузу или ламию, демона-женщину, питающуюся человеческою кровью. Однако, легенды такого рода довольно редки, – по крайней мере, для исторических времён классической древности, – не пользовались доверием и далеко не играли той опасной роли, что дали им средние века в учении об инкубах и суккубах, разработанном con amore Мартином Дельрио. Бл. Августин говорит, что в его время многие считали прямо бесстыдством не верить в сладострастные проделки фавнов и сильванов, – однако, сам относится с сомнением к возможности половой связи между существом телесным и существом воздушным, которое доступно осязанию лишь в той

же мере, как воздух, колеблемый опахалом. Можно думать, что отвратительный предрассудок этот был кельтской прививкой к античной демонологии. В сказанном отрывке Августинова «Града Божие» Галлия указана, как классическая страна сладострастных демонов (дузиев), подобно тому, как Фессалия была классическою страною низменного колдовства («гоэтии»), а Самария – магического богослужения (феургии). Что касается демонов, вселённых в идолы, они, как-то истекает из непочтительных анекдотов Лукиана, должны были иногда весьма смущаться в божественной своей роли страстными порывами к ним богомольцев, которых эстетические наклонности и чувственность оказывались сильнее набожного благоговения. Известен скандал, вызванный, при Тиберии, жрецами Изиды, спрятавшимися за имя её собакоголового демона, Анубиса. Они уверили одну красивую суеверку, будто Анубис требует её на своё ложе. Когда дурочка послушно пришла в храм на ночное свидание, роль влюблённого демона принял на себя богатый всадник Мунд, стакнувшийся о том с жрецами за щедрую взятку. Тиберий приказал разрушить храм, распять жрецов, а кумир Изиды утопить в Тибре. Жестокое наказание явилось результатом не столько религиозных, сколько уголовных соображений: обманом внесено было прелюбодеяние под кров римского гражданина, чужеземцы и иноверцы бесстыдно распорядились честью обманутой римской матроны. Поэтому и пострадали не только виновные, но и покровительница их, богиня Изида. Но, если дело не осложнялось уголовщиною, римские дамы отнюдь не считали ни невероятным, ни невозможным, ни даже неприличным удостоиться связи с чтимым божеством. На самой ранней заре римской истории мы встречаем странную легенду о проститутке Акке Ларенции, которую проиграл в кости Геркулесу сторож его храма. Полубог, с удовольствием приняв проигрыш, щедро за него расплатился, послав Ларенции богатого содержателя. Капитал и земли, нажитые от этого последнего, Ларенция завещала новорождённой римской общине, за что и удостоилась быть причисленною к патронессам римского народа, стала богинею, и в честь её справлялись праздничные игры. На закате Рима, Сенека свидетельствует, что многие дамы ходили в храм Юпитера кокетничать с богом и воображали себя его любовницами, не опасаясь ревнивой Юноны.

Смотря по тому, кто считал демонов существами духовными, кто полутелесными, ставился и вопрос, нужна ли им пища, – очень важный для самого больного места всех языческих культов в борьбе с христианством: для теории жертвоприношений. Христианская апологетика, посвятившая вопросу этому много внимания, пошла в его развитии ближе к мнениям эллинов-неоплатоников, чем к иудаическому преданию. Ангелы иудейские не могли пить и есть. В апокрифическом Завете Авраама, архангел Михаил очень смущён, когда ему предложили угощение, и, чтобы не раскрыть своего incognito, умоляет Бога послать ему в помощь «всеядного духа», который, невидимый, и уничтожает за него пищу. Лже-Енох, как мы уже читали, отказывает демонам, в качестве «душ исполинов», в естественных способностях быть видимыми, чувствовать голод и жажду, принимать пищу. Это – наказание за то, что в земной жизни своей исполины «поели всё приобретение людей, так что люди не могли уже прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь». Книга Еноха вышла из аскетической вегетарианской среды и отразила её взгляды. Порождения александрийской философии, Филон, книги Гермеса Тривеликого и неоплатоническая догма Плотина-Порфирия сходились в мнении, что Божеству не нужны ни жертвы, ни курения (Гермес считает их даже оскорбительными для возвышенной идеи Божества); но низшим служебным демонам, реющим между землёю и луною, с которыми из высших себя существ только и имеет непосредственное общение человек, необходимы цветы, аромат жертвенного дыма, тёплый пар мяса и т. п. Это их пища, а со стороны людей – верное средство привязать демонов к месту и формам, в коих они являются. Древнейшая христианская апологетика, в своей борьбе с языческими жертвоприношениями, всецело поддерживала этот тезис, столь удобный для порицания жертвенного принципа и ритуала. Демоны,

скитающиеся на земле, жаждут жертв, запаха крови и трупов; вот зачем и научили они род человеческий кровавым жертвоприношениям пред идолами. В числе христианских сторонников подобных мнений находятся Ориген, Иустин, Афинагор, Арнобий, Пруденций, Фирмик Матерн, бл. Иероним, св. Григорий Назианзин, Тертуллиан, Лактанций. По словам первого из них, приносить жертвы идолам – великий грех уже потому, что чрез жертвы доставляется им пища, и они, таким образом, удерживаются гостить на земле. Лишённые пищи, предоставляемой для них запахом жертв, демоны не могли бы оставаться среди людей, а следовательно, и сеять вред. Поэтому, жертвоприносителей Ориген приравнивает к притонодержателям разбойников, убийц и государственных изменников. Долг же каждого истинно благочестивого человека – стараться, как бы заморить демонов голодом. Снять с вопроса о грехе идолослужения столь наивную материалистическую окраску позволил себе только св. Августин, писавший, когда языческие жертвоприношения были уже строго запрещены официально и, понемногу, начинали отходить в область преданий фактически. «Не в трупном смраде, как говорит Порфирий, и как полагают некоторые, находят они в самом деле удовольствие, а в божеских почестях. Смрада весьма достаточно для них всюду и, если бы они захотели его больше, могли бы найти сами. Следовательно, присваивающие себе божественное достоинство духи услаждаются не дымом от горения какого-нибудь тела, а душою молящегося, над которою, обольстивши и подчинивши её себе, они господствуют»…

Легенд о злых демонических мертвецах, питающихся человеческою кровью, об упырях, вампирах, вурдалаках, античное суеверие не имело – с тою, по крайней мере, яркостью, почти реальною определённостью, какие суеверие это приняло в средневековом славянском и германском мире. Злые покойники латинского мира, лемуры или ларвы, легко отступаются от своих жертв, довольствуясь невинною взяткою из чёрных бобов и нескольких капель жертвенного возлияния чистою водою. Но, взамен, античное суеверие признавало, что существует порода демонов-людоедов, алчущих крови и мяса, по преимуществу, детских. Это эмпузы и ламии, которыми до сих пор пугают детей в Пелопонесе. О византийском императоре Маврикии рассказывали, будто, в младенчестве, злая эмпуза трижды похищала его из колыбели, но, по Божьему изволению, не успела его загрызть, что и было принято за предзнаменование славной будущности ребёнка. Выше было говорено, что в империи римской демонический культ утвердился тем легче, что господствующему народу, самим римлянам, была очевидная возможность тесно сблизить его с старым итальянским культом манов, – в тех, главным образом, разрядах демонологической классификации, которые признавались полезными и благожелательными человеку. Наоборот, демонизм вредный и зложелательный мог найти себе в тех же старо-италийских верованиях аналогию в только что помянутых лемурах и ларвах: то, в противоположность святым ларам, были души людей порочных, которых, как у нас на Руси говорится, земля не принимает, погибших насильственною смертью, а, главное, оставшихся без погребения: самое великое несчастье, какое могло грозить человеку эллино-римской религии. Как известно, Августинов трактат «О Граде Божием» вызван реакцией в пользу язычества, развившейся по взятии Рима Аларихом, понятом многими, как наказание за отступничество государства от старых богов. Одну из первых же глав трактата бл. Августин должен был посвятить доказательству, при том нельзя сказать, чтобы сильному и убедительному, положения, что для человека совсем небольшая беда, если труп его останется непогребённым. Очевидно, что массы непогребённых тел, которыми готы завалили поля италийские, явились в языческой аргументации против христианства острым сучком, и полемисты старого культа больно кололи ими глаза своим торжествующим противникам. Логика их в этом случае должна была выразиться в таком построении. Христианство явилось причиною нападения на Рим готов. Готы завалили Италию мёртвыми телами, оставшимися без погребения. Непогребённое мёртвое тело создаёт злого демона, лемура, ларва. Таким образом, поход готов населил Италию полчищем вреднейших воздушных существ, лемуров и ларвов. Но готское вторжение – результат

нечестия христиан и торжества их веры. Следовательно, христианство – первопричина того, что страна сделалась добычею всяких демонических ужасов как естественных, так и сверхъестественных. Посещения лемуров и ларвов приносили людям страшные видения, болезни, несчастья, сумасшествие. «Бешеный» по-латыни lavratus, lavratus plenus: одержимый ларвами. «Мания», сумасшествие, олицетворённое в женском демоне, почиталось их госпожою и в ошибочном народном толковании, позабывшем об естественном происхождении лемура из души непогребённого мертвеца, – матерью. Три дня в мае – 9, 11, 13 числа – были посвящены умилостивлению лемуров: от них откупались на целый год ключевою водою и чёрными бобами, звоном в медный гонг и девятикратною молитвою: «маны родительские, изыдите». Обряд Лемурий исполнял Нерон после убийства Агриппины, Каракалла после убийства Геты и т. д. В случае, если чья-либо насильственная смерть тяготила общественную совесть, падая на ответственность государства, гнев раздражённой души старались успокоить гражданским трауром. Так, например, было после знаменитого убийства девственной Виргинии отцом её. По национальной римской легенде, Лемурии были установлены Ромулом для умилостивления манов Рема, брата, им умерщвлённого, и назывались первоначально Ремурии, то есть поминки Рема, а последующее имя своё приняли чрез обычное смягчение в народном говоре твёрдого плавного р в л. Как уже замечено, вопреки своему мрачному, злобному характеру, лемуры римлян – всё-таки вегетарианцы и не ищут крови. Только обряды некромантии, гадания по видениям мёртвых, требовали примеси крови в воду, возливаемую манам. Это потому, что кровь рассматривалась, как жизненное, телесное начало человека, не восприяв которого, душа не может ни слышать, ни говорить. Подробное изложение древних взглядов на данный предмет предлагают «Одиссея» и «Энеида» в сценах сошествия в ад Улисса и Энея. Что касается жизненного гения, которого римская вера считала соприрождённым каждому человеку спутником его от рождения до могилы, после чего он и делался либо святым ларом, либо нечистым ларвом, этого гения предписывалось усердно чествовать молитвами и жертвами, но проливать на его алтаре кровь решительно воспрещалось: творить возлияния должно было чистым вином. И в этом случае, как во множестве других, нельзя не заметить, что, даже создавая демонологию, римлянин умел сохранить свои обычные здравомыслие и гуманность, совсем не свойственные этой тёмной и сумбурной области мысли человеческой. В позднейшее время с культом ларов связали гладиаторские бои, как тризну, угодную воинственным усопшим. Но то было не римское изобретение, а заимствование, нововведение суровой этрусской моды, которое, к тому же, истинно римскими философскими умами никогда не одобрялось.

Каждому мужчине дарован Богом прирождённый свой гений, от gigno, произвожу, рождаю: одушевляющая, творческая сила, производитель существа; каждой женщине своя юнона, которую, в данном случае, следует писать с маленькой буквы, как имя нарицательное, знаменующее одного из бесчисленных воздушных женских демонов; совокупностью своею они слагают великую собирательную Юнону, требующую уже буквы прописной, как имя собственное, – единую Юнону мировую, то есть воздух, облегающий землю до области луны. Равным образом, совокупность гениев, оживляющих мужское население земли, составляет великого Варронова Гения-«бога, который приставлен и имеет силу к рождению всех вещей». В демонологической иерархии имелся разряд «героев»: души великих людей, переживающие период совершенствования в божество. Название это, по-видимому, весьма часто распространялось на весь демонический мир. Соблазнительное созвучие сближало «героя» с Герою, греческим именем Юноны, – и, чрез сближение это, и герой, и его alter ego, демон, понимались, таким образом, как чада Юноны-Геры, представители «воздушной силы». Отсюда понятно, что, если почитались гении известных занятий, учреждений, возможностей мужского характера, то им соответствовали и самые разнообразные юноны в занятиях, учреждениях, житейских случаях характера женского. Когда бл. Августин с язвительностью вопрошал язычников, каким образом Юнона может быть одновременно царицею богов и обязательною путеводительницею странников по

дорогам (Juno Iterduca), – он предумышленно не различил Юноны, как имени собственного и собирательного, от юноны, чтимой покровительницею названной специальности. Из двух слов Juno Iterduca собственным является здесь второе, а не первое. Приём великого основателя схоластики был бы очень неудачен для полемики против искусных философов-диалектиков: они, конечно, не пропустили бы без внимания подмена в предмете обсуждения. Но «Град Божий» назначался не для поучения специалистов, а для пропаганды поколебленной веры в массе людей, которые, по словам самого бл. Августина, легко могли никогда не слыхать даже имени платоников, – следовательно, для среднего читателя, обрядового полухристианина, полуязычника, типического двоевера пятого века. Такой читатель, разумеется, не шёл в своих мифологических знаниях и требованиях далее известности, что чтилась на свете и продолжает ещё кое-где чтиться какая-то Юнона, не разбирая, кто она, какая, откуда взялась и сколько их под луною.

7

Мы уже знакомы с Пифагоровой метафорой: «звук меди есть голос духа, живущего в ней». Знаменитый Додонский оракул применял это пандемоническое положение к практике с точною реальностью. Предсказания в Додоне давались чрез шум листьев священного дуба, чрез журчанье ручья, истекавшего из-под корней его, и чрез голос медного котла. От котла, по которому ветер свободно ударял костяными нахлёстками плети-трёхвостки, исходили стоны, – они и принимались за прорицание. Звуковой пандемонизм не ослабел в суевериях христианских веков. Напротив, вряд ли когда-либо ещё был он выражен с большею энергией убеждения, чем в средние века, – например, аббатом Рихальмом. Он, будучи охотником выпить и едва ли не допиваясь иногда до delirium tremens, сваливал на чертей решительно все обманы чувств, в какие вводило его вино, да и, вообще, приписывал им всё, слышимое в воздухе. «Вот я двинул рукавом, – говорит он, – и шум, причинённый этим, есть разговор чертей. Если я поцарапаюсь, то они говорят посредством царапанья. Каждый шум, какой только есть, есть голос чертей». Демон – чаще звук и тайная сила, чем наглядное явление. Голоса незримых демонов чародей вызывает очень легко из воздушного пространства, равно как заставляет воздушную силу, по желанию его, производить разные таинственные фокусы, что в наше время носят название спиритических явлений и опираются на теорию четвёртого измерения: нарушение закона тяжести, беспричинное поднятие предметов на воздух, уменьшение или вовсе уничтожение веса их, проникновение медиума в запертое помещение или, наоборот, исчезновение его из такового и т. д. Все эти явления, часто волнующие общественное любопытство и в наши дни, очень хорошо известны св. Августину в конце четвёртого века нашей эры и Тертуллиану, за двести лет ранее. Последний взывает: «Если маги могут вызывать призраки, если они заклинают души умерших и делают оракулы из детей, если они творят чудеса под видом фокусов шарлатанов, наводят сны, творят гадания через коз и стучащие столы, и всё это при помощи падших демонов, – то насколько энергичнее должны употреблять эти высшие существа власть, которую они предлагают на службу другим, когда действуют по собственному выбору и в собственных целях». Демонами кишит воздух. «Часто их открывают нам, – утверждает бл. Иероним, комментируя слова ап. Павла о силах воздушных, – даже внешние чувства». Если вещь чудесно уменьшила свой вес, – «это демоны тащат её тяжесть, чтобы обольстить людей». Итак, незримая демоническая деятельность оказывается горше зримой. Мнения языческих магиков того же характера. Способность делаться невидимым – доказательство высшей демонической одарённости. Оракулы не имеют вида. Великие чудотворцы и прорицатели, в моменты своих возвышенных экстазов, становятся незримы для учеников. Понятие о демоне, как о мощной космической силе, сделало его для позднейших неоплатоников чем-то вроде атома Демокритова: всепроникающим, незримым началом, чьего существа в нём самом мы усвоить не можем, понять не в состоянии, а знакомимся с ним лишь качественно, в различных его проявлениях и сочетаниях, создающих предметы и факты мира физического.

«– Спрашиваю тебя, о, пророк, – обращается Порфирий к Ямблиху, – в чём истинная причина прорицания?

– Лучшее средство разъяснить твои сомнения, о, Порфирий, это – найти истое начало божественного озарения (divinatio) и хорошо убедиться на опыте, что оно не может проистекать ни от тела, ни от чувств телесных, ни от природы, ни от наших физических способностей, ни от изобретения человеческого, ни от условий человеческого быта, но происхождение его всецело божественное. Правда, органами проявления служат ему многие из всех этих вещей, но это уже второстепенный разряд причин, и грубо ошибётся тот, кто примет их за причину первоначальную».

Итак, сам по себе, демон – только сила и звук. Если он должен явить себя в зрительном видении, он обязан прибегать к своего рода оборотничеству, становясь душою идола или священного животного, заимствуя формы от какого-либо живого или видимого предмета. Иногда такое воплощение требует особенных мистических подготовлений. Порфирий излагает рецепт, как сделать видимою богиню адских чар Гекату: процедура длинная, условия сложные, рассчитанные на такое множество подробностей, что выполнить их в точности бессильно самое острое внимание: что-нибудь да окажется забытым или не совершенно так сделанным, а – раз хоть одна черта прейдёт в обряде, значит, всё заклинание теряет силу, и чародею не на кого пенять в своей неудаче, кроме себя самого. С гораздо большею лёгкостью Геката приходит незримая; верующий внемлет её таинственный голос, слышит лай адских собак, её сопровождающих. В высшей степени любопытен у Порфирия оракул, якобы записанный со слов Гекаты, в ответ на вопрос ей об Иисусе Христе. Гекату, – собственно говоря, луну в фазе трёх четвертей или ущерба, – уже неоплатоническая феургия зачислила в класс злых демонов. Священные обряды её имени перешли в средневековую магию почти целиком, не утратилось в ней и имя богини, и даже её царственная популярность. Вообще, в средние века античные божества неоднократно изображаются как бы адъютантами и служебными духами при Сатане и князьях его. Теория оборотничества, поддержанная легендарными метаморфозами божеств языческой мифологии, столь популярными в века империи, благодаря Овидию, и затем метаморфозами дьявола при искушениях им святых подвижников христианских, перешагнула в средние века уже широко развитая. Прокопий в одном из злобных памфлетов своих на Иустиниана и Феодору уверяет, будто великий византийский законодатель был оборотень: некогда Феодоре, за ложе которой демоны спорили с людьми, было-де пророчество, что она будет женою демонского царя, и вот предсказание исполнилось – на ней женился Иустиниан. Когда император в рассеянности забывал выдерживать роль оборотня, многие замечали, что на престоле сидит как бы не он, но некто, не имеющий лица. В другой раз, стража подсмотрела, как могучий монарх Византии, воображая, будто его никто не видит, разгуливал по своим покоям без головы. Потребность иметь тело для проявления своей деятельной воли заставляет демонов, при благоприятных к тому условиях, вселяться в людей и животных: таковы одержимые ларвами античного мира, бесноватые евангельские. Совершенно научное построение получила теория одержимости злыми духами в средние века, закончив своё развитие «Молотом ведьм», инквизиционными судилищами и тысячами костров, запылавших для истеричек и неврастеников. Древние держали своих бесноватых при храмах, в чаянии, что бог исцелит их чрез инкубацию. Обращение с ними вряд ли было хорошо. От медицинского авторитета империи, Цельса, остался афоризм, свидетельствующий, что античная наука в противодействии злому духу держалась той же системы, что рекомендовал Ориген: то есть морить нечистого голодом, – посадив тело, им захваченное на хлеб, на воду, с придачею палочных ударов. Ремесло бесозаклинателей было очень распространено. Иосиф Флавий сообщает об одном римском еврее Элеазаре, с огромною и успешною практикою этого рода; он выводил чертей из одержимых через нос больного, давая ему нюхать какой-то волшебный корешок. Чтобы присутствующие не сомневались в чуде, Элеазар приказывал демону, когда тот незримо выходил из больного, опрокинуть сосуд с водою, который нарочно для того ставился у дверей комнаты. Как скоро больной успокаивался и вслед затем сосуд, никем не тронутый, падал, чудо объявлялось совершившимся, а недугующий исцелённым. Фокус не из хитрых, современные медиумы и контр-медиумы показывают и более сложные. Аполлоний Тианский также излечил одного бесноватого, при чём бес просил у него позволения войти в близ стоящую статую. Аполлоний разрешил, и в то же мгновение статуя зашаталась, рухнула с пьедестала и разбилась в куски. История эта – неоплатоническая аналогия исцеления бесноватого Христом в стране Гадаринской, где легион демонов, взбешённых изгнанием своим из тела человеческого отомстил за себя, утопив в озере свиное стадо, в которое вошёл.

Успешные исцеления одержимых бесами были очень важным, сильным и убедительным орудием христианской пропаганды в язычестве. По-видимому, со временем они стали считаться в народе как бы специальностью исключительно христианского духовенства. Тертуллиан, Лактанций, Августин равно указывают, что христианским экзорцистам приходилось иметь дело не только с своими, но и с языческими душевнобольными, и демоны, заключённые в последних, обличали себя, называясь именами идольских божеств. Утверждения такого рода, исходящие от разных церковных писателей на протяжении трёх столетий, не должны быть подозреваемы в преувеличении, как плод чрезмерного христианского усердия к успехам веры, маленькая ложь ради торжества великой истины. Нет ничего удивительного, если душевнобольные язычники, действительно, вопили о богах, в них поселённых. Глубочайшее убеждение, что душевная болезнь есть божественное наслание, демоническое вселение в человека, старо, как мир, и было присуще античному мировоззрению повсеместно. Это убеждение – одно из тех, что, передаваясь из поколения в поколение, делаются как бы врождённым самовнушением народов, наследственною, расовою идеею и владеют человеком, даже механически, когда он не управляет своим сознанием, говорит и действует непроизвольно и без разумения. После девятнадцати веков христианской дисциплины, имеем ли мы право, всё-таки, сказать с уверенностью, что даже в Европе, не говоря уже о странах азиатских и африканских, большинство населения видит в сумасшедшем и истеричке естественно больных, а не бесноватых? Отсюда можно умозаключить о напряжённости суеверия в период дохристианский. Современное кликушество обычно сопровождается страшными ругательствами и богохульствами. Не иначе было, конечно, и в истерии античной. Наши кликуши хулят христианских святых, священников, обряды, а кликуши языческие издевались над богами своего культа. «О, юница, – гласит, обращаясь к Федре, хор в „Ипполите“ Еврипида, – бог владеет тобою: это либо Пан, либо Геката, либо досточтимые корибанты, либо тревожит тебя Цибела». Гиппократ сохранил для потомства примерную таблицу примет, по которой в его время определяли, кто из богов виноват в недуге душевнобольного. «Если одержимый прыгал, как козёл, скрежетал зубами и правая сторона его тела сокращалась конвульсиями, – виновницу недуга усматривали в Матери Богов; если он вопил грубым и повышенным голосом, то его приравнивали к лошади и приписывали его недуг Посейдону; если он не держал испражнений, причиною тому, уверяли, была Геката Энодия; как скоро он пищал и щебетал, подобно птице, болезнь считалась обязанною происхождением Аполлону Номию; если он точил ртом пену и топотал ногами, творцом недуга почитался Арес. Всякий раз, что кто-нибудь бывал охвачен ночными страхами и тоскою, выходил из себя, соскакивал с кровати, чтобы бежать из комнаты, – всё это оказывалось ловушкою, расставленною на человека: Геката и герои овладевали им». Самая этимология названий душевных и нервных недугов в древней медицине показывает, что их понимали, как божественное овладение телом человека; слова «эпилепсия», «нимфолепсия», «теолептос», «даймониолептос» обозначают «схватывание» больного сверхъестественною силою: нимфами, богом, демоном. Для римлянина падучая болезнь – lues deifica, боготворящая болезнь; бешенство – mania болезнь, насылаемая царством мёртвых, манами; сумасшедший larvatus, larvarum plenus или cerritus захваченный Церерою. Отвратительность проявлений душевной болезни не позволяла, конечно, причислить её к действиям доброй силы; поэтому её принимали или как наказание от божества, обычно благодетельного, но в данном случае разгневанного, или, – при развитии демонических верований в дуалистическом направлении, – как выходку ярости «какодаймонов», злых демонов, ларвов, Гекаты с её свитою и т. д. В христианстве, конечно, утвердилось только второе мнение; все душевные болезни были признаны злобно-демоническими; борьба с истерией и истеро-эпилепсией посредством заклинаний и церковных обрядов проходит красною нитью через всю историю католичества, льёт кровь в застенках на пытках мнимых колдунов и колдуний, зажигает им костры и т. д. Известно, что первобытное христианство пыталось применить чудесную целительную силу веры не только к душевным, но и ко

всем болезням человеческого организма. «Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне». К учёной медицине многие христиане, верные этому тексту, относились с порицанием, как к попытке насилия над волею Божиею. «Медицина и всё, что относится к ней, представляет такое же коварство», – определяет суровый Татиан после того, как осудил Демокритово учение о физической симпатии и антипатии и талисманы, на них основанные. Практика благочестивого обряда, предписанного в послании св. апостола Иакова, как видно из свидетельств отцов и учителей Церкви, была необычайно широка. Её принимали и развивали не только православные, но и еретики, причём гностики, конечно, вносили в обряд восточные магические примеси. Любопытно, что один из наиболее могучих, но в то же время и наиболее мистических умов неоплатонизма, великий Плотин, относился к демонической одержимости с недоверием и горячо оспаривал её возможность. В его «Эннеадах», обработанных Порфирием, мы встречаем следующую тираду, направленную против гностиков. «Они хвалятся, будто исцеляют болезни. Достигай они того воздержанием, правильною жизнью, претензии их были бы разумны: но они утверждают, будто болезни суть демоны, которых они могут изгонять своим словом, – вот чем хвастают они, с целью прослыть святыми у черни, всегда падкой на восторги пред могуществом магии. Людей рассудительных им не убедить. что болезни ваши происходят не от причин ощутительных, как-то: переутомления, полнокровия, отощания, разврата, словом, порчи организма, проистекающей из начала внутреннего или внешнего. Что оно так, видно уже из самой природы лекарств. Часто исцеляют болезнь слабительным или микстурою; часто также бывает на пользу диета и кровопускание. Отчего же тут изнемогает демон – от голода или микстура его замаривает? Когда, вслед затем, человек выздоравливает, – демон должен либо остаться в нём, либо выйти; если он остаётся, каким образом его присутствие не препятствует выздоровлению? Если выходит, – почему? Что ему приключилось? Питался он что ли болезнью? В таком случае, болезнь – одна вещь, демон – другая. Если он входит туда, где нет причины для болезни, почему тот, в чьё тело он проникает, не всегда болеет? Если он входит в тело, когда оно уже носит в себе естественную причину заболеть, то в каком качестве пристаёт он к этой болезни? Сказанной причины уже достаточно, чтобы вызвать лихорадку. Смешно допускать, что, раз болезнь имеет свою причину, то, как скоро причина эта в действии, находится и демон вполне приспособленный, чтобы придти к ней на помощь». Скептической тираде знаменитого философа можно противопоставить много мест из христианской апологетики, доказывающих, что древности в довольно широкой степени свойственно было учение о физическом предрасположении к восприятию болезней. Именно это хроническое предрасположение и почиталось естественно болезнью организма, обострения же, развивавшиеся на его почве, приписывались демонам. Таким образом, с точки зрения медицинской, демоны являлись чем-то вроде микробов, бацилл, занятых и палочек современной науки, которым здоровый и сильный субъект легко сопротивляется, тогда как хилый и истощённый быстро воспринимает их и гибнет. Конечно, лечение пресвитерское далеко не всегда вело к исцелению больного. Юлиан Отступник злобно смеётся, что христианство не вылечивает «ни проказы, ни лишаёв, ни подагры, ни дизентерии, ни водяной, ни костоеды и никакой телесной немощи. Оно очищает только от прелюбодеяний, хищений и вообще всяких душевных прегрешений». Христианство, с своей стороны, как бы дало косвенный ответ на этот попрёк в известной легенде о «вене-Константиновом», повествующей, как император Константин чудесно очистился от проказы крещением, после того, как благочестиво отверг медицинский совет жрецов идольских – избавиться от болезни ваннами из тёплой крови невинных младенцев. Языческим противовесом христианской легенде служила молва, будто предлогом к выбору между языческим и христианским культом были не физические, но моральные страдания Константина. Терзаясь совестью, как убийца сына своего Криспа и жены своей Фаусты, Константин обратился за утешением к религии и философии языческим, но они, устами неоплатоника Сопатра и жрецов разных культов,

объявили, что не знают средств для искупления таких ужасных злодеяний. Тогда-де император прибег к христианам, которые, за покровительство их вере, обещали простить ему всё, что угодно. Легенда эта, рассказанная языческим историком Зосимом, давно опровергнута, как страдающая хронологическими неточностями.

Известно, что восточные народы относятся к безумным с большим уважением и, по возможности, оставляют их бродить на свободе, исходя из того убеждения. что они не столько больны, сколько посещены богом, и, стало быть, не человеческого ума дело судить, добро из этого будет или худо. Античные взгляды на сумасшествие близки к турецким. Вдохновенный экстаз пророка, оракула, поэта и даже пьяного – такая же одержимость духом, как и сумасшествие: «Молись Бахусу, чтобы вино не отуманило твоего рассудка», – приглашает Овидий в шуточном стихотворении своей любовной книги, но – совсем не в шутку. В вине живёт дух, демон, бог, и, кто пьёт вино, впадает во власть этого духа, демона, бога, и, чтобы остаться трезвым за чашею, сохранить самообладание и здравый ум, мало тебе самому желать того, надо, чтобы и Бахус пожелал, надо заслужить его благосклонность. Всякий человек в нервном подъёме выше нормы, всякий «френетик» опасен, потому что божество в нём; но – божество это может выразиться и вредным беснованием, и полезным провидением или гениальным творчеством. Жрецы экстатических культов, пифии, вакханки одержимы демонами, добрыми к человеку, им угодному, но свирепыми против человека, им сопротивляющегося, идущего против их воли. Плутарх сообщает об ужасном припадке истерии, случившемся с дельфийскою жрицею, когда её заставили предсказывать насильно. Бл. Августин, чьи сочинения весьма богаты фактическими иллюстрациями к данному вопросу, ставит френетизм и прорицание, ясновидение, второе зрение в прямую связь между собою. «Нам известно, что одержимый нечистым духом, находясь у себя в доме, указывал время, когда собирается выйти к нему из своего, отстоящего на расстоянии двенадцати миль, дома пресвитер, где он в данную минуту находится в своём пути, как приближается и когда входит во двор, в дом и спальню, пока не является к нему на глаза. Всё это больной видит не глазами; однако, если бы он этого каким-нибудь образом не видел, то не давал бы таких верных показаний: а был он болен лихорадкой и говорил как бы в френетическом бреду. Может быть, он и действительно был френетик, но его по этой причине считали за одержимого демоном». Тот же автор с удивлением рассказывает о случаях, когда пророческий дух овладевал людьми незаметно для них самих и делал их предсказателями по неволе. Факты, им приводимые, имеют действующими лицами либо язычников, либо врагов Христовых (Каиафа), так что должны быть отнесены к событиям не «Града Божие», но «града дьявольского», к обольщению злых демонов. Августин повествует о молодых людях, которые, «хотя не имели ни малейшего понятия о двенадцати знаках», вздумали разыграть из себя астрологов и, к собственному изумлению, оказались точными и счастливыми предсказателями. «Другой юноша плясал пред оркестром, расположившимся на таком месте, где по случаю какого-то языческого праздника было много идолов, не духом каким-нибудь восхищённый, а представляя исступлённых с потешным передразниванием знакомых, около стоящих и зрителей. Ибо в обычае было не воспрещать, если кто-нибудь из юношей, после совершённого пред завтраком жертвоприношения и при возбуждённом состоянии фанатиков, хотел забавляться подобным образом. Между тем, среди пляски, сделав себе передышку, шутя и окружённый смеющейся толпой, он предсказал, что наступающею ночью в ближайшем лесу будет умерщвлён львом человек, смотреть на труп которого с наступлением дня сбежится толпа, и место настоящего празднества опустеет. Так и случилось, хотя всем присутствующим по всем его движениям видно было, что он сказал это шутя и не находясь в состоянии умственного расстройства или исступления; и даже сам он тем более дивился случившемуся, что не знал, в каком душевном состоянии произнёс своё предсказание». Биографии многих знаменитых людей Рима отмечены фактами случайных предсказаний, врывавшихся, подобно неким вдохновительным вихрям, в жизнь этих героев, баловней судьбы. Особенно богата ими жизнь дик-

татора Суллы, «счастливого Суллы», – по римскому народному убеждению, нечестивейшего игралища демонов, по учению св. Августина. Не лишнее отметить, что из френетических прозорливцев и ясновидцев, описанных Августином, многие отличались резкими неправильностями в половой системе.

Способность второго зрения иногда понималась, как демонская услуга, обусловленная даром незримых, легковесных и мощных духов быстро перемещаться в пространстве от видящего к видимому и обратно. «Всякий дух, – говорит Тертуллиан, – имеет полёт быстрой птицы; а потому ангелы и демоны переносятся с места на место во мгновение. Вся земля для них как одно место: для них так же легко узнать, где что делается, как и разгласить о том повсюду. Быстрота их, свойственная их неведомой натуре, весьма способна к тому, чтобы выдавать себя за богов. Они хотят почитаться виновниками того, что возвещают, и действительно бывают виновниками, только не добра, а зла. Им известны даже намерения Божии, первоначально через пророков, а ныне чрез их писания. Таким-то образом, похищая у Божества таинства Его, они успевают притворно Ему подражать». В пример таких мгновенных перелётов предсказательного духа, Тертуллиан ссылается на известное испытание Крезом Лидийским дельфийского оракула. – «Что царь делает в данную минуту?» – спросили Аполлона лидийские послы. – «Варит черепаху», – отвечал оракул, – и угадал. «Блуждая в воздухе, носясь в облаках, сближаясь с звёздами, демоны легко могут предсказывать об изменениях времени».

Подробное рассмотрение огромного и сложного вопроса о демонической одержимости, конечно, не может входить в программу моего этюда, довольствующегося намёткою общих взглядов и понятий античного мировоззрения; к тому же исторический центр его лежит и далеко за рамками эпохи, мною исследуемой. Те, кто интересуются судьбами вопроса, могут найти богатый, блестяще изложенный и освещённый материал в классическом труде Альфреда Мори «La Magie et l'astrologie dans l'Antiquité et au Moyen Âge». Современная наука о духе, психиатрия и психопатология разобрались в явлениях, относимых древностью к разряду демонической одержимости, настолько внимательно и пользуются ими так остроумно и успешно, что теперь детальное их исследование, очевидно, надо считать достоянием скорее врача-психолога, чем историка. Метафизические воззрения прошлых веков и затем материалистическая против них реакция во второй половине девятнадцатого столетия наложили на вопрос безмерное множество ложных гипотез и мнений. Истина его оказалась, таким образом, на дне весьма глубокого колодца. Когда в этих наслоениях разберутся внимательные и беспристрастные изыскатели, по всей вероятности, в нелепостях античных заблуждений найдётся несколько зёрен драгоценной и поучительной правды, теперь скрытой, как водится, в аллегориях и метафорах, узко и близоруко принимаемых за чисто религиозные мифы.

8

Общение человека с демоническим существом, понятное дело, возможно только при том условии, если обе стороны вполне удовлетворительно одна другую понимают. Развитие магии и параллельный рост требований, к ней предъявляемых, могучий рост античной государственности и культуры, осложнение житейского уклада и случаев в нём, когда смертному требуется религиозное вмешательство в быт его, нужны советы и помощь сверхъестественной силы, вызвали соответственный прогресс и в развитии магии. К векам империи, как говорено уже и ещё будем иметь случай говорить, старые оракулы замолчали или ослабели. Одна из многочисленных причин к тому, конечно, – отсталость их первобытного волшебства: цивилизация широко и пёстро шла вперёд, а культ замкнуто и консервативно стоял на месте, жреческое откровение оказалось позади своей философствующей паствы и стало ненужным ей. Простые «да» и «нет» из уст внемлющего бога уже не удовлетворяют мистически настроенного верующего. Обращаясь к демону, неопифагореец или неоплатоник хотят беседовать с ним, как с неким божественным юрисконсультом. Додонский звон, двусмысленные каламбуры дельфийского бога, сон в пещере Трофониевой никому не нужны более. Попытка Юлиана восстановить антиохийский оракул Аполлона Дафнийского кончилась полнейшею неудачею, а между тем никогда ещё не занимались магией и гаданием о будущем усерднее, чем в эти годы, – во второй половине четвёртого века. В самом непродолжительном времени после неудач Юлиановых, Валентиниан и Валент объявляют преследование магии, – со всею энергией, жестокостью и пристрастием, свойственными гонениям религиозным. Легенда об одном из процессов этого гонения показывает, что магический кружок искал, чрез гадание кольцом, привешенным свободно качаться между буквами алфавита, узнать имя своего будущего государя, преемника Валентова. Успели определить только начало имени «Феод…», что дало Валенту повод убить влиятельного вельможу-язычника Феодора и, быть может, ещё нескольких несчастных с именами, начинавшимися злополучным «Феод…» Судьба, как известно, всё-таки, сделала своё дело, и преемником Валента оказался испанец Феодосий Великий. Это эпоха, когда пророческие аллегории, метафоры, намёки уже недостаточны. Даже христианские писатели, в полемике с языческими, употребляют такие странные аргументы, как подложное стихотворение Сивиллы с акростихом имени Иисуса Христа. Век требует, чтобы религия стала чем-то вроде положительного и прикладного знания. Мистерии и магическое демонослужение, обещающее в телетах своих непосредственное общение с божеством, делаются упованиями всех религиозных людей, которые не примкнули к христианству. Маг – феург, берущийся познакомить адепта с демоном или богом посредством таинственных обрядов очищения, мистагог и фауматург окончательно затмевают, побеждают и отстраняют от влияния на общество жреца, устарелого чиновника устарелого духовного ведомства. Человечество учится, во множестве новых религий и теософических систем, благоговейно трепетать пред Единым Богом и дерзко управлять незримыми силами творения, образующими таинственную лестницу совершенствования от материи к духу, от плоти к Божеству.

Развитие и международность магии выдвинули вперёд вопрос о языке демонических существ, ей покорных. Здесь необходимо опять обратиться к глубинам иудаизма. Влияние иудейской мысли на греко-римский мир в конце римской республики и в первые века империи было очень значительно. Прозелитов своих иудаизм имел во всех важных центрах империи и во всех слоях общества, – до императрицы Поппеи Сабины включительно. Накануне своего рокового восстания при Нероне иудеи были модными людьми в Риме. От них ждали чего-то великого, неслыханного, каких-то новых судеб миру. Нерону было предсказано великое восточное царство со столицею в Иерусалиме. Мир волновался смутными мессианскими ожиданиями: великий свет, могучий властитель должен воссиять на Востоке, поднявшись из

Иудеи. Известно, что многие видели Мессию в Веспасиане. Понятно, что, при таком настроении общества, каждый иудей, тем паче образованный, являлся в нём существом загадочным, мистическим, с будущностью, чреватою событиями. Настроение поддерживалось тем, что первый век нашей эры – действительно, блестящая пора национального гения иудейского, когда из недр его хлынули потоком такие мощные и разнообразные учительские силы, как апостольская проповедь, Филон, первые гностики и т. д. Иудей стал слагаться в воображении и представлении народном в человека, который знает какую-то особую религиозную истину, скрытую от всех других. Ясно, что, при таких данных, магия века должна была очутиться в иудейских руках по преимуществу. Иудейские гоэты и гадалки кишат в народе, а Симон из Гиттона, Элеазар и им подобные магические авторитеты поселяются во дворцах, влияют на аристократию и философов. Теоретические поиски религиозной истины в эту эпоху были почти окончены вчерне. Все философско-теологические системы, сводясь в тех или других компромиссах к Платону, признают Бога единым, развивают в тех или других формах и с теми или другими оттенками учение о божественной триаде, слагают величественную догму Логоса, – в высшей теологии, а в практическом, земном её, так сказать, подотделе принимают гипотезу ангелического и демонического посредничества. Насущный вопрос, истекающий из этих выводов, – утилитарное искание религиозной силы. Так как почти единодушно было решено, что на волю Верховного Существа, каково бы оно ни было, человек не в состоянии оказать ни малейшего давления, то задача сводится к изобретению способов влиять на его «сатрапов» и «проконсулов» – ангелов и демонов. Это изобретение шло вперёд ощупью, вырабатывая сложную демоническую «феургию». Ни один маг не настаивал на конечной непогрешимости своего знания настолько твёрдо, чтобы не освежать его новыми формулами, обрядами и даже принципами, буде таковые наплывали откуда-либо в жизнь, и утверждалось в обществе мнение о их большей против прежних силе. Гордость иудеев своею исключительною религией, национальная замкнутость и брезгливость их вели к тому, что «народ избранный» ненавидели все племена земные и, по закону и предчувствию взаимности, считали его ненавистником всех народов земных. Но, вместе с тем, распространялась и широко утверждалась в народах уверенность, о которой мы только что говорили, – что религиозные тайны, помогающие иудеям, на зло всеобщей к ним антипатии, сохранять своё политическое существование и общественное устройство, особенно властны и могучи. Припомним смущение, невольно охватившее победоносных римских солдат, когда они взяли приступом храм Иерусалимский и – стали пред ним в суеверной нерешимости, не смея проникнуть в таинственную твердыню; их радостно изумило, когда какой-то сорви-голова, «как бы по внушению бога», швырнул внутрь грозного здания роковую головню и дерзким поступком одного точно снял волшебные чары со всех. Вот почему языческий маг изучал иудейскую кабалу и волшебные книги, якобы писанные Ноем, Хамом, Авраамом, Иосифом; вот почему он заклинал воздушное демоническое воинство именами Ягве, Адонаи, Себаофа, Баруха, Авраама, Израиля, ангелов и даже просто бессмысленными и исковерканными еврейскими словами, будто бы выхваченными из священных Моисеевых книг, – едва ли не с большею надеждою, чем именами Зевса и олимпийцев.

Служители смешанного эллино-иудейского магического культа были особенно многочисленны в Самарии, которую христианство справедливо считает рассадником древнейших своих ересей, корнем гностицизма. Когда Иисус Христос явил Себя в Палестине, местные маги поспешили испробовать демоническое воздействие Его имени, не спеша, однако, к Нему обратиться. Их интересовало чудо, а не учение, сила, а не правда. Заподозрив, что в группе учеников, образовавшейся вокруг Иисуса и продолжавшей затем Его проповедь, практикуется какой-либо новый заклинательный секрет, они пытались купить его у апостолов за деньги, как свидетельствует знаменитый эпизод в «Деяниях» о Симоне волхве из Гиттона. Другой волхв Бар Иисус предлагает апостолу Павлу состязание в магическом искусстве, как некогда египетские жрецы соперничали с Моисеем пред лицом фараоновым. Третий фауматург,

Менандр Самарийский, старался затмить христианские обеты бессмертия души посулами бессмертия телесного, – и, к удивлению, имел доверчивых последователей, не разубедившихся даже смертью самого ересиарха и его непосредственных учеников. Секта Менандра существовала более двух столетий. Относительно псевдохристиан, удачно обращавших в свою пользу имя Христово, не следуя Христу, сам Спаситель высказал мнение весьма снисходительное: «Кто не против нас, тот за нас». Но век апостольский и позднейшие новообразования церкви не подражали этой божественной мягкости, так как тройственное слияние в ересях самарийского происхождения начал христианских, иудаического предания и магии создало могучие гностические расколы, вооружённые сложными философскими системами «лжеименного знания», более опасными для христианского единства и правоверия, более соблазнительными, чем самый грубый и пёстрый политеизм. Гнозис рождает Сирия, развивает Александрия, впитывает Рим. Известно, что язычники относились к гностикам снисходительнее, чем к другим христианам, быть может, видя в них не столько христиан, сколько просто, так сказать, христианствующих магиков, ищущих в тайнах христианства дополнения к науке халдеев, к секретам Египта и к еврейской кабале.

Итак, в представлении эллина-римлянина, истинно сильный и властный маг есть, по преимуществу, еврей. В связи с этим, установилось мнение, что из языков земли ангелы владеют только еврейским, как древнейшим. О древности еврейского народа и языка шли в первом веке пылкие споры, известные по усердной защите своих единоверцев Иосифом Флавием в его апологии против Апиона. При такой скудости лингвистических познаний воздушного воинства, заклинания, могучие на еврейском языке, могли оказаться совершенно бессильными на языке греческом или латинском. Ориген, в рассуждении о магической силе имени, идёт ещё дальше. «Если бы имена были даны произвольно, тогда демоны и другие нам неведомые силы не отозвались бы на заклинания тех лиц, которые не знают их самих. В действительности же, по неизвестной нам естественной связи между именем и называемым существом, явление призываемых совершается чрез возглашение известных звуков и слогов, и известных имён мягко или с придыханием, с соблюдением долготы или краткости». Таким образом, даже недостаток в акценте заклинателя мог повредить успеху его чар. Понятно, что, при подобном педантизме условий, маг из кровных евреев должен был иметь большую к нему веру и больший на него спрос, чем маг, только знакомый с еврейским языком и еврейскими формулами. Помимо этого суеверия, содействовали магическому превосходству иудеев и другие причины, психологические и бытовые. Необходимо принять в соображение, что феург-иудей обыкновенно принадлежал к умственной аристократии своего племени. Занятие магией было сурово осуждено и запрещено законом Моисеевым, строго обязательным для массы народной во все века. Исключения из правила или, лучше сказать, терпимые его нарушения, наслоившиеся исторически и, в особенности, под влиянием плена Вавилонского, были компромиссами в уважение избранного гения или исключительного общественного положения известных лиц. В трактате Санхедрин Вавилонского талмуда и в трактате Менахот говорится: «члены Санхедрина должны быть сведущи в науке магии и в языческом богословии». Великая школа Гамалиила, в которой учился апостол Павел, делилась на два факультета: пятьсот юношей изучали святой закон, а другие пятьсот – эллинскую мудрость. Трактат Гемары Вава-Катта объясняет это исключение высоким положением Гамалиила при дворе государя: на эллинском факультете его школы юноши готовились к придворной и дипломатической карьере, либо к ответственным постам теократическим. По мнению многих, под эллинскою мудростью в данном случае должно понимать не писания греческих поэтов и философов, но сочинения иудеев-эллинистов, плоды греко-иудейского философского общения в Александрии. Если так, тем сильнее должна была просачиваться в лекциях Гамалииловой школы феургическая струя: не в первый раз уже повторять мне, что Александрия для магии вторая родина. Из всех этих подробностей следует, что иудей со светским, эллинским образованием, тем более сведущий в магии, не был, что называ-

ется, первым встречным. Это человек хорошего происхождения, хорошего воспитания, порядочный для любого общества, почтенный уже сам по себе, помимо высших знаний, им таимых. Это посланник, как Филон, это член посольства, как Иосиф Флавий. Прибавим к этому, что в раввинскую школу высшей мудрости, вроде Гамилииловой, ученики принимались не зря, но с строгим разбором характера и умственных способностей. Прибавим к этому, что пытливость ума и сила воображения, увлекающие учеников за прямые практические цели учения, чтобы предать их отвлечённому умозрению, бросить их на путь реформы богословской ли, философской ли, социальной ли, – обыкновенно, даются в удел способнейшим, наиболее впечатлительным и вдумчивым натурам, мощно возвышающимся над умственным уровнем своих сверстников. В лице иудеев, являвшихся в Рим с новыми религиями и мистическими учениями, Рим, действительно, встречал гигантские умственные силы, которых влиянию, по мере сближения с ними, не мог не поддаваться, которых воззрения не мог себе не усвоять, даже презирая их родину и источник. Достаточно того, что Рим единовременно был ареною религиозной пропаганды двух таких иудейских сил, как апостол Павел и Симон Гиттонский, чтобы простою оценкою их понять, почему древность пришла к убеждению, будто для разговора с духами надо владеть иудейским языком.

Между собою ангелы пользуются особым таинственным наречием, мнимые отголоски которого обильно предлагают любителям таинственного гностическая и магическая литературы. При охоте разбираться в диких звуках этой пёстрой тарабарщины, в ней иногда можно найти анаграммы и тайнопись божеских или ангельских имён и качеств. В четырнадцатой главе первого послания к Коринфянам ап. Павел предупреждал верных от злоупотреблений «глоссолалией», вдохновенным даром проповеди на разных языках. Церковь от этого опасного дара отказалась очень рано, предоставив его, как сомнительное наследство, разным мистическим сектам, преемницам гнозиса первых веков, иллюминатам и экстатикам. Глоссолалия сектантская, существуя до нашего времени, представляет собою бессвязный набор слов и рифм, среди которых многие совершенно бессмысленны и не принадлежат ни к какому языку. Таковы пресловутые вещания духом древнего монтанизма, современной хлыстовщины. Вот подобные-то курьёзные сочетания произвольных звуков, порождённые экстазом действительной или притворной «глоссолалии» в радениях восторженных мистиков, и принимались древними теософами, как эхо языка ангелов. Во множестве перейдя от сектантов к магикам, как феургам, так и гоэтам, они благополучно пережили ряд веков и снова становятся известными нашему времени в формулах некоторых сект, ныне разнообразно оживающего, оккультизма. Мистическая буква, неуклюжая и бессмысленная, тысячелетиями переживает таящийся на дне её дух смысл. Чувственные мистерии земледельческой триады богов-производителей, Матерь богов, Адонис и Венера, Аттис и Кибела, Озирис и Изида, очень древние покойники и крепко спят, глубоко зарытые под руинами своих храмов. А, между тем, следствия судебные по хлыстовским и скопческим делам показали, что вопли, некогда оглашавшие празднества «умерших богов», продолжают звучать на радениях русских раскольников-изуверов. «Эван, эвое, эйа», которым вакханки звучно аукались с горными нимфами Киферона, раздаются теперь под бревенчатым потолком какой-нибудь избушки на курьих ножках, на потайных задворках сектантских селений, из уст тёмных, как ночь, искажённых людей.

Поэтическое вдохновение, божественное в религиях, принимающих мифологические поэмы, как свои священные и основоположные книги, стало делаться подозрительным человечеству задолго до христианской против него реакции. Можно сказать, что уже первое слово греческой философии было направлено против поэтов, их мифологии и вредного влияния на религию и нравы. Элеат Ксенофан яростно опровергал и высмеивал Гомера. Платон изгнал поэтов из своей «Республики». Положение, что боги и религия оклеветаны поэтами, было общим в образованном обществе конца римской республики, даже в греческих государствам и городах. Люди эллинского образования и воспитания с завистью говорят о чистоте скучной

и сухой гражданской религии Рима, в которой нет ни распутства и преступлений Зевеса, ни беснований Геракла, «не рассказывается, будто Уран был изувечен своими сыновьями, будто Сатурн пожирал своих детей из опасения, чтобы они не свергли его с престола, и будто Юпитер, в свою очередь, изгнал Сатурна из его царства и заключил его в темницы тартара». Ещё раз надо повторить твёрдое правило: римская религия была системою гражданской этики, без мифологических прикрас. «В твоём прошлом нет ничего такого, за что твоей истории следовало бы краснеть», – говорит Проперций в стихах, противополагающих бедную и сухую символику римских верований пёстрому богатству греческих мифов. Соответственное место у Вергилия: «Наши поля не были вспаханы быками, выдыхавшими пламя из ноздрей; их никогда не засевали зубами чудовищной гидры, и никогда из нашей почвы не вырастала внезапно жатва воинов с шлемами и копьями». Трезвость воображения и твёрдая уверенность, что бог должен быть лучше человека, а, следовательно, не могут быть присущими ему те же пороки и злодейства, что пятнают род человеческий, отличают римскую богословскую мысль с самого раннего её проблеска. Теория Эвгемера имела в Риме блестящий успех, и древнейший поэт римский – Энний, был его пылким пропагандистом и последователем. Варрон, Цицерон, Лукреций вели ожесточённую идейную войну против грубых политеистических форм. Мы знаем, что они имели сочувственников в жречестве: знаем также, что римское правительство, охотно включая пришлые божества в списки союзных римскому народу, тем не менее не впускало их в черту города и очень неохотно, до времён империи, дозволяло официальное отправление их культа, в уровень с национальными богами. Даже культ Сирийской Богини, при всём суеверном поклонении ей народа, был принят в Риме с резкими ограничениями, и римским гражданам воспрещено было увечить себя, чтобы зачислиться в скопческую орду её жрецов. Умнейшие люди государства с отвращением смотрели на вторжение антропоморфической мифологии в понятия черни и с удовольствием вспоминали времена первобытной религии, когда храмы стояли без кумиров. Не только прихотливая греческая, но даже и скромная национальная религия казалась философам чересчур загромождённою грубыми пережитками старинного суеверия и половой патриархальности, которую цивилизация выродила в разврат. Цицерон жалуется, что на долю его, как правительственного лица, выпало устраивать игры в честь Флоры, празднества которой отличались грубою распущенностью, бесстыдством, пьянством. Вину за все эти тёмные привносы, омрачившие народное богопознание, дружно взваливали на греческую поэзию и эллинскую цивилизацию. Вера о злобном демоническом вмешательстве в творчество Гомера и Гесиода родилась гораздо ранее христианства, которого апологеты подхватили её, как модное оружие полемики, и блестяще ею воспользовались. Ненависть к языческой поэзии в победоносной церкви после реформы Константина была тем сильнее, что это время в неоплатонизме началась попятная, демократическая реакция, стремившаяся, через демонизм, соединить сокровенные тайны Логоса с многобожием суеверной черни, с политеистическою мифологией и храмовым обрядом. Наиболее реальным и последовательным показателем таких попыток к житейскому компромиссу философии с предрассудком явился, как известно, Юлиан Отступник. Умирающее язычество пользовалось демоническою теорией, чтобы отчасти доказывать боговдохновенность Гомера и Гесиода, отчасти, чтобы извинять боговдохновенным поэмам и истолковывать пестрящие их неприличия. А в христианстве демоны, устами бесноватых, признавались экзорцистам, что они те самые, которые говорили некогда через древних поэтов, творцов античной мифологии. В эту пору Вергилий, долгое время почитаемый чуть не святым «языческим пророком» и впоследствии восстановленный в этом достоинстве католицизмом Возрождения, начал перерождаться народными легендами в страшного волшебника, в Фауста на античный лад. В эту пору бл. Иероним видел во сне, будто Иисус Христос приказал ангелам высечь его за любовь к Цицерону. В эту пору надменный сатрап-епископ Феофил опустошил библиотеку храма Сераписа. В эту пору сложились мнимые «Постановления Апостольские», проклинающие любителей светской литературы. В эту пору погублены

монашеством списки языческих полемистов. Выше говорено, что жреческая наука не может быть судима нами потому, что от неё ничего не осталось, кроме сочинений общедоступных, популярных, «обиходной рецептуры», публикованной для масс, а не для ближайших адептов культа, посвящённых в более интимные тайны знания. Нельзя изумляться тому, зная жестокие истребления, каким подвергались от христиан издания древних авторов именно в главнейших центрах образования и жречества. И это началось очень давно. Известен эпизод «Деяний Апостольских» о семи неудачных бесозаклинателях эфесских, которые, по примеру многих своих товарищей, призывали на злую силу имена Иисуса Христа и ап. Павла, но злой дух возразил им: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?..» И затем бесноватый избил их, ограбил и выгнал из дома. Случай этот, огласившись в Эфесе, вызвал сильное движение против магии. «Из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм». Таким образом, простой случай, далеко не из самых крупных событий текста «Деяний», попавший в летопись Луки лишь как бы мимоходом, только ради характеристики, «с какою силою возрастает и возмогает слово Господне», способствовал, однако, уничтожению целой магической библиотеки. По этому эпизоду легко судить, какие широкие размеры должно было принимать книгоистребление при правильно организованных гонениях на магию, вроде Валентова, о котором сообщают Аммиан Марцеллин, Зосим, Евнапий.

За нахождение у кого-либо магической книги следовала смертная казнь. Поэтому их сбывали, кто как и куда мог. Юный Иоанн, впоследствии Златоуст, выудил однажды подобную книгу в реке и едва остался жив от страха, потому что вблизи стояли полицейские солдаты. В гонении этом исчезло почти всё, что написали неоплатоники и христианские гностики, против знания которых оно и было предпринято. Казнь языческой книги, языческой статуи и языческого здания стала богоугодным делом. Конец четвёртого, пятый и шестой века жгут и истребляют языческую и еретическую литературы с ревностью, достойною лучшего применения. Папа Григорий Великий уничтожает всюду, где может, списки Цицерона и Тита Ливия. Предание приписывает ему гибель знаменитой римской библиотеки Аполлона на Палатине. Защита папы Григория от этого обвинения Грегоровиусом слаба. Неизвестно, куда исчезли библиотеки Ульпиева и Августова. На все средние века установлен непоколебимый католический принцип: кто изучает светскую науку и литературу, – оскорбляет тем религию, – «имя Христа и имя Зевса не могут получать хвалу из одних и тех же уст». Обладатель античных знаний – поворотник к язычеству, еретик, колдун. Невежество о прошлом возводится в обязанность. Знание древнего мира умерло с Боэцием под топором гота или кончило самоубийством вместе с последними академиками афинскими, поставленными вне закона Юстинианом.

9

Крейцер много распространяется об этрусских фульгураторах, которым легендарные цари римские Нума и Тулл Гостилий были обязаны будто бы волшебною властью над молнией, уменьем заклинать её, вызывать, сопровождаемую громом, при ясном небе и бросать на вражеские полчища, как описывает это Овидий. Понятен ужас, объявший римское войско в первый раз, что оно увидело этих чудодеев, точно живых фурий, со змеями в руках. «Невообразимый, исступлённый ужас, – говорит Крейцер, – нападал на тех, кто дерзал читать священные книги, заключавшие ритуал молниеносцев». Однако, судя по отрывкам, дошедшим до нашего времени, они содержали в себе только молитвы, да чин заклинания. Надо отдать справедливость рационалистическим комментаторам этого баснословия, – объясняли они его весьма нелепо. Сальверт, например, находит в этрусских бросателях молнии «более или менее счастливых предшественников Франклина», или предполагает за ними искусство ловко пользоваться химическими веществами, весьма обыкновенными в странах экзотических, но неведомыми на родине шарлатанов. Подобные объяснения – отчасти отбросы безнадёжно провалившегося ещё в восемнадцатом веке эвгемеризма, отчасти – плоды знаменитой гипотезы Dutens'a, возведённой в научную теорию Балльи, – о великой исчезнувшей доисторической культуре, которой египетская и эллинская цивилизации были будто бы только выродившимися остатками и переживаниями. За известность древним многих прикладных явлений электрической силы, по следам Dutens'a, Балльи и Гоге, высказались в девятнадцатом веке Сальверт, Моран, Фурнье, Сестье и Мегю. Такие гипотезы, не содержа в себе научных данных, ни к чему не обязывают своих изобретателей, кроме пылкой фантазии и известной доли остроумия. Однако, господство их и распространение в обществе едва ли многим симпатичнее суеверий, которые они не разрушают, а, напротив, укрепляют странностью своих, слишком натянутых, допущений. Сальверту, например, особенно не везло с огненными чудесами. Чтобы объяснить библейское чудо низведения огня на землю пророком Илиею, в состязании его с 970 жрецами Ваала, он прибегает к какой-то театральной махинации, воспламеняющей смесь эфира и винного спирта, потом к негашёной извести, которая, будучи полита водою, загорается и дымит, потом к хлористокислой соде и т. д. Столь естественные объяснения неестественнее всякого чуда. Некоторого внимания, пожалуй, заслуживает ещё негашёная известь. Но неужели свойства её, будучи известны Илии, не были, известны жрецам Ваала, – бога Финикии, бога Вавилона, откуда родом вся магия со всяким магическим фокусничеством? Хитрость пустить в дело негашёную известь – невеликая, а жрецы, несомненно, были весьма искушены в огненных чудесах, ибо, иначе, с какой бы стати принимать им вызов на состязание в чуде, да ещё под условием смертной казни для побеждённой стороны? На празднествах Диониса в Риме вакханки опускали в Тибр зажжённые факелы, и они не гасли от воды, так как содержали негашёную известь. Августин старательно изобличает подложность одного языческого чуда – неугасимой, горящей на открытом воздухе, Венериной лампады: апологет объясняет этот вечный огонь свойствами асбеста, горного льна. Павсаний, хотя и суевер, но далеко не хвастливый, как очевидец чудес, рассказывает о восточном маге, который, стоя в значительном расстоянии от жертвенного костра, воспламенял его своею молитвою. О фокусах Архимеда и Демокрита с зажигательным стеклом сложились целые легенды; первый будто бы производил ими пожары в римской осадной артиллерии при блокаде Сиракуз, второй выжег собственные глаза, дабы не соблазняться женщинами и не отвлекаться чувственными помыслами от философского умозрения. Основная и истинная идея этих легенд – что управлять тепловою энергией солнечного луча мир умеет уже очень давно. Гораздо удачнее Сальверта объясняет Гиббон огненные чудеса, из-за которых Юлиану Отступнику не удалось восстановить Иерусалимского храма, – воспламенением рудничного газа, скопившегося в подземельях под многовековым фундамен-

том здания; чудо это, к тому же, случилось не в первый раз: когда царь Ирод спустился в гробницу Давида, в надежде найти там большие сокровища, то совершенно так же, как при Юлиане, в подземелье вспыхнуло большое пламя, лишившее жизни двух спутников царя. Что касается театральных машин, производящих «калхасов» гром и молнию, – до нас дошли Pneumatica Герона, любопытная книга наставлений и рецептов, как делать в храмах чудеса: вызывать разные огненные явления, таинственные звуки, гром и молнию, призраки, тени, странные голоса и т. д. Калигула, при посредстве подобных религиозно-театральных машин, вёл войну с Юпитером, бросая в воздух серные огни, отвечая на громы небесные раскатами своих рукотворных громов. Искусственные проявления якобы атмосферного электричества и огненные привидения играли важную роль в Элевзинских мистериях, да и во всех других, до грядущего розенкрейцерства включительно. Посвящаясь в Элевзисе, Юлиан Отступник был так смущён одним из этих пламенных призраков, что в испуге, забыв о своём сане языческого первожреца, вспомнил наставления своей христианской юности и перекрестился. Призрак тотчас же исчез – от негодования, как уверяли язычники, – от страха, по мнению христиан. Вот новое доказательство, насколько обе враждующие стороны искренно относились к чудесам противников: ни язычники, ни христиане равно не усматривали в мистериях жреческого шарлатанства, но видели в них разумное действие сверх естественной силы – одни доброй, другие злой.

Единичные проявления химического или физического фокусничества не дают нам, однако, права распространить объяснение им на все огненные чудеса древнего мира. Приписывать их всецело средствам тогдашней науки значит городить на старый миф миф новый. В великолепном своём рассуждении о философских мифах Тейлор даёт прекрасные образцы, как европейцы, разрушая мифологические воззрения о богах, демонах, героях, чудесных зверях, сами, однако, ставили на место их не точное знание, но новую мифологию гипотез по здравому смыслу. Так, окаменелые кости, найденные в швейцарских Альпах, были приписаны слонам Ганнибала; отысканные около Мон Сени устричные раковины навели Вольтера на мысль о пилигримах, идущих в Рим и т. д. Фабрикацию таких же «философских мифов» представляют собою гипотезы Сальверта, Морана и всех, которые с ними. Каким образом проделывали фульгураторы свои молниеносные фокусы, мы, разумеется, объяснить не в состоянии, разве что предположим их результатом извечно и повсеместно известной гипнотической мороки, прославившей в наши дни, – с лёгкой руки Жакольо, – факиров Индостана. Даже наши русские сказки «о мороке» знают этот фокус стихийного внушения: «дока», отводя глаза барину, заставляет его пережить воображением страшную грозу, наводнение, кораблекрушение и т. п. Что иллюзии гипноза могут быть не только индивидуальные, но и массовые, также доказано множеством опытов, засвидетельствованных сотнями очевидцев. Но, как бы то ни было, – что тем или другим способом фокусы, действительно, производились, – вряд ли можно сомневаться. Римляне даже выработали специальные термины для видов молнии: bruta et vana – молнии атмосферные, обычно-грозовые, и expiabilia – призванные заклятиями и молитвами.

Конечно, самыми трудными к объяснению остаются те атмосферные чудеса, которые производились на открытом воздухе и при больших стечениях зрителей. Мне кажется, что здесь были бы слишком рискованными наглые жреческие уверения, что гром гремит слева или справа, тогда как никто не слышит никакого грома; о подобных проделках авгуров с негодованием говорит Цицерон. Тут что-нибудь не так. Нельзя представить себе, чтобы целый народ, да ещё такой умный и положительный, как римский, из года в год, изо дня в день, в течение многих столетий, сообразовал свою державную волю со звуками, которых никто не слышит, с молниями, которых никто не видит. Римлянин скептик более эллина, который тоже мудрости ищет, а не чуда. Credat iudaeus Apella! – презрительно восклицает Гораций по поводу одного огненного чуда, весьма похожего на современное неаполитанское чудо св. Януария. Но и еврейское суеверие было не так уже податливо на огненные фокусы: возражая на книгу Апиона, родоначальника современных антисемитов, Иосиф Флавий с большим презрением гово-

рит об одном сооружении в этом роде, как чересчур первобытном и способном напугать разве ребёнка, а не целый народ.

Не могло ли быть так, что пресловутая фульгурация обязывалась к фактически наглядным чудесам лишь в исключительных случаях, – вроде объявления войны, – допускающих известную подготовку к искусственной симуляции электрических явлений или хоть вероятный расчёт на непременное скорое действие атмосферного электричества? Вообще же роль фульгурации могла ограничиваться просто метеорологическими наблюдениями: гром и молния, о которых фульгураторы возвещали магистратам, далеко не всегда должны были величественно оглушать и ослеплять чиновное присутствие и народ. Тем более, что громовых знамений требовалось от неба великое множество по великому множеству практических, требующих быстрого разрешения, вопросов, и, хотя две тысячи лет назад климат южной Европы был, по-видимому, богаче грозами, чем сейчас, однако, на сложные политические гадания столь великого государства их, конечно, не могло доставать. Поэтому, остановимся на мысли, что делом фульгуратора было не вызвать и показать грозу, но объявить, где он, по знаниям своим, её предвидит, в какой стороне она должна разразиться. То есть – определить направление в данный момент электрического напряжения атмосферы и предупредить о нём, как теперь предупреждает о том же своих товарищей любой телеграфист, любая телефонистка. Так как вопрос определения шёл только о правой или левой стороне, то и ответ не требовал слишком больших и точных знаний, мог достигаться грубыми снарядами и даже просто приметами. Что авгуры имели свои обсерватории, это известно; а, раз имелись обсерватории, то делали же на них и какие-нибудь наблюдения. К тому же, физическое изучение грома и молнии шло в Риме довольно далеко и успешно: даже от Плиния и Сенеки есть чему научиться о феноменах грозы. Гром без молнии, молния без грома, гром с ясного неба, формы молнии, направления, характер, причуды её ударов, условия, привлекающие молнию, зарницы, огоньки Кастора и Поллукса (св. Эльма), – все эти наблюдения имеются на страницах популярных книг для самообразования, которыми просвещалось общество Нерона и Флавиев. Нелепые подробности унижают эти почтенные описания только в тех случаях, когда естественного объяснения мало и требуются ссылки на религиозную сторону факта, на его значение в культе. Таким образом, Плиний заставляет себя и других верить в астральное происхождение молнии, – будто «важнейшие» удары её падают прямо с планет Марса, Сатурна, Юпитера. Это учение родственно звёздной науке маздеистов и, как все отголоски тайного азиатского знания, прошло в эллино-римский мир через александрийских учёных иудеев. «Видел я, – говорит в своём апокрифе таинственный лже-Енох, – видел я относительно молний, как они возникают из звёзд и становятся молниями и не могут восстановить своего прежнего вида». «Я видел сатану, спавшего, как молния, с небес», – гласит Евангелие. Выше уже объяснено, как звёзды и духи роднились в маздеизме и заимствованных из него иудейских мифах. Звезда – демон; падающая звезда – демон, ринувшийся в мир; молния – падающая звезда, зримая на близком расстоянии; молния – звёздный демон. Это рассуждение роднит фульгурацию с астрологией, которая со временем и стала на её место в суевериях конца античной цивилизации и в цивилизации средневековья и Возрождения.

Фильгурация вымерла сразу. Вера в правду и могущество её жрецов надолго пережила в Риме господство языческого государственного культа. Во время осады Рима Аларихом, этрусские заклинатели молнии предложили правительству свои услуги, обещая испепелить лагерь врага. Авторитет волшебства оказался настолько живучим и сильным, что ему поддался даже епископ римский, папа Иннокентий. Опыт не состоялся только потому, что в римском сенате нашлись люди, довольно благоразумные, чтобы понять, какою опасностью угрожало молодому христианству языческое чудо, если бы, по какому-нибудь случайному совпадению атмосферных условий, оно получило хоть слабый намёк на удачу.

Понятно, что столь обстоятельно, научно, можно сказать, регистрированное суеверие не могло стоять неподвижно; оно развивалось и разветвлялось. Средневековая вера, что бури,

грозы, градобития и другие опустошения нив – дело демонов, повинующихся злым чародеям, было хорошо знакомо самой глубокой древности. Папе Иннокентию VIII принадлежит только незавидная честь возведения этих сказок в научно-богословский догмат. Стрепсиад в «Облаках» Аристофана говорит о фессалийской колдунье, которая сводит месяц с небесного свода и прячет в лукошко – точь-в-точь, как две тысячи лет спустя, в ночь под Рождество, упражняются в том же ремесле бес и великолепная Солоха. Лукан, поэт и блестящий представитель Неронова двора, по убеждениям философским стоик, по религиозным – свободомыслящий невер, принимает простонародную магию, «гоэтию», отвергая богов. «Почему, – восклицает он в своих революционных „Фарсалиях“, – почему ужасные заклинания действуют на богов, глухих к благочестивым молениям целого народа? Почему эта женщина, пренебрегающая молитвами и жертвоприношениями, имеет могущество угрожать небесам? Слова фессалийской колдуньи насилуют богов, удивлённый Юпитер слышит гром и видит, как миры останавливаются без его повеления». Лукан трепещет и изумляется пред колдовством знахарки, простонародной ведьмы, какими кишел Рим в последний век республики и при первых цезарях империи. То были немножко гадалки, немножко сводни, немножко отравительницы. Золотой век волшебства начался позже, когда за магию, в религиозно-научных системах феургии, взялись философы: платоники, неопифагорейцы, неоплатоники, чудодеи родом с Востока, проведшие многие годы в египетских пирамидах, или даже удостоившиеся сообщества индийских браминов. Свободные от человеческих страстей, пренебрегавшие земною пищею и питьём, они внушали к себе уважение, являясь повсюду в белом полотняном одеянии, и были охотно принимаемы в дворцах вельмож и богачей. Их возвышенная магия окончательно вылилась в форму и существо новой или, по крайней мере, обновлённой религии, – через феургию Плотина, Порфирия, Ямблиха, Прокла, чрез гнозис Василида, Валентина и других загадочных наследников Симона Волхва. Феургия и гнозис сходятся в третьем веке до такой интимности, что в божнице одной карпократианки очутились рядом фигуры Христа и Пифагора. Чудодейственная сила феургов предполагалась истекающею из святости их жизни; они владели богами и демонами уже не чрез формулы и заклинания, но кто победил человеческую природу, – стал сам как бог, он выше демонов, они слушают его, как трепещущие рабы своего господина, он человеко-бог. В колдовстве власть над демонами – договорная, условная и временная, в неоплатонической и неопифагорейской феургии – вечная и абсолютная. Мысль победы над демонизмом чрез нравственное совершенствование получила яркое развитие в христианском аскетизме. Св. Павел Фивейский, когда братия удивлялась, что он бестрепетно берёт в руки змей и скорпионов, отвечал: «Если приобретёт кто чистоту, всё покорится ему, как Адаму, когда он был в раю, прежде, чем преступил заповедь». Аполлоний Тианский понимает язык птиц, побивает камнями демона чумы, изгоняет кровожадную невесту-ламию. От пьяных ведьм римской республики к Аполлонию Тианскому, Ямблиху, Плотину – скачок гораздо больший, чем, например, от ворожей, гадающих купчихам на кофейной гуще об их «предметах», до сатанического культа Сара Пеладана, до теософизма Блаватской и т. д. Неоплатонический идеал отражал в себе идеал мессианический, – не даром же роман Филострата считается языческим евангелием, – но отражал обратными лучами: мессианисты ждали и ждут (в еврействе) Бога, который станет человеком, платоники – человека, который станет богом. Расцвет могущества и обаяния языческого мессианизма, выраженного в культе Митры, благоговейно ценимом во всех неоплатонических системах, падает на третий век христианской эры. Но первую ласточку этой философско-магической весны в Риме надо видеть в Нигидии Фигуле, знатном представителе старой аристократической партии, скончавшемся в 45 г. до Р. Х. вне Италии, политическим изгнанником. С удивительно разностороннею учёностью и ещё более изумительною силою веры, – говорит Моммсен, – он создал из самых разрозненных элементов философско-религиозное построение, в котором орфическая мудрость греков и древнейшие местные верования, обновлённые философскими комментариями, слились с персидскими, халдейскими и египетскими

тайными учениями, с мистическими фокусами на подкладке естествознания и т. п. Сюда же приспособил Фигул результаты магии древних тусков и теорию исконного римского государственного гадания по птичьему полёту. Система Фигула, прикрытая необычайно популярным в республике именем Пифагора, «друга мудрого Нумы и сотоварища умной матери Эгерии», имела огромный успех. Её приверженцы творили чудеса. Сам Нигидий предсказал отцу будущего императора Августа, в самый день рождения последнего, его грядущее величие. Прорицатели вызывали, в присутствии верующих, духов усопших и, что ещё важнее, находили покражи и потери. С лёгкой руки Нигидия, мистические клубы и общества расплодились в таком количестве, что пришлось даже принять против них полицейские меры, ибо некто Публий Ватиний, храбрый воин, увлечённый новыми таинствами, дошёл в своих магических опытах до кровавых преступлений: стал убивать детей – вероятно, для фабрикации из них оракулов вроде терафимов.

Чудодеи эти во многом были обязаны своими успехами женщинам, привлекая их к себе не только тайнами своей науки, до которых женщины во все времена были жадны, но и внешнею красотою. Александр из Абонотейха, по описанию Лукиана, был писаный красавец. Аполлоний Тианский жил суровым аскетом и женщин избегал. Тем не менее сложилась легенда, будто одна знатная дама в Селевкии Киликийской, отвергнув всех своих поклонников, отдалась ему, как некогда царица амазонок Александру Македонскому, исключительно в надежде иметь от столь знаменитого родителя, как от полубога, дитя, прекрасное красотою выше человеческой. Плодом этой, весьма сомнительной исторически, связи называли софиста Александра, по прозванию Пелоплатона, – действительно, красавца, богато одарённого умом и талантом. Апулей, также имевший прочную репутацию мага, завоевал себе ею сердце богатой Эмилии Пудентиллы и едва не погиб, привлечённый родственниками жены к суду по обвинению в любовных чарах.

Приверженность женщин к практическим проявлениям магии, как феургической, так и гоэтической, издревле положила основание предрассудку, что женщина есть существо демоническое по преимуществу. Глубокое падение женщины в века Римской империи, неистовства языческих женщин в Дионисовых празднествах, в сиро-финикийском культе и т. п. поддержали и разожгли это убеждение в обществе первых христиан настолько, что даже доблестные деяния многочисленных мучениц и подвижниц за веру не могли окончательно победить предвзятого мнения, что женщина есть сосуд диавола, его ученицы и, покорная его воле, обольстительница человеков. Пречистая Дева Мария, родившая Искупителя мира от первородного греха, не истребила из памяти своих молитвенников Еву, через которую первородный грех вошёл в мир. Культ Девы Марии и догмат непорочного зачатия должны были выдержать серьёзную борьбу с предубеждением против женщины на самой ранней заре христианства. Целый ряд древнейших еретиков (Керинф, Карпократ, эбиониты, Марк) отклонял своих последователей от почитания Девы Марии, как Матери Спасителя мира. Иисус Назорейский становится для них Христом только с крещения Своего во Иордане, когда на Него сошла сила вышней Плеромы. До посвящения Иисуса в Христы таинством Иорданским, Он, для гностиков, человек, как и все, сын Иосифа и Марии, прошедший чрез мать Свою, «как вода через трубу». Против почитания Девы Марии, как Богоматери, восставали несториане. Византийский император Константин Пятый, иконоборец, говорил, что, как кошелёк стоит значительной суммы, покуда в нём есть золото, и ничего не стоит опорожнённый, так и «Мария» (в каких-либо почтительных эпитетах он Матери Христа отказывал) заслуживала поклонения только, покуда хранила Христа, родив же Его, стала, как все женщины. Читая жития подвижников и пустынножителей четвёртого века, убеждаешься, что – после самого дьявола, – второй предмет, которого боятся они, как злейшего искушения, – это женщина. Дьявол в виде женщины – любимая галлюцинация аскетов.

На фоне апокрифов вроде «Книги Еноха», развитых апологетами, на фоне демонических сказок раввинизма, на фоне неоплатонических фантазий и гностических аллегорий, утверждается понятие о женщине, как супруге падших ангелов и матери исполинов, одинаково с первыми ставших демонами. Через женщину вошла в мир магия, через женщину в мире началось идолопоклонство. Женщины, – говорит ещё язычник Страбон, – первые стали поклоняться богам и научили этому мужчин. Старое демоническое родство между женщиною и злым духом вспомнили варварские народы христианского севера; в Галлии, в Германии оно вызревает, под аскетическою опекою средних веков, в глубокое убеждение, которое в 1478 году, в самый расцвет Возрождения, было провозглашено с епископской кафедры св. Петра, как непоколебимый церковный догмат… «Анафема тому, кто не верит в ведовство волшебниц».

Апулей считал демонов бессмертными. Более распространённое мнение стояло за то, что изнашивается и должен быть когда-нибудь сброшен даже и их лёгкий, едва телесный состав. «Девять человеческих годов живёт болтливая ворона; олень живёт четыре жизни вороны; три жизни оленя составляют жизнь ворона; жизнь феникса продолжается девять жизней ворона; а мы, кудрявоволосые нимфы, живём десять жизней феникса». На этом расчёте, исходящем будто бы ещё от Гесиода, Плутарх вычисляет жизнь нимфы и, вообще, демона в 9.720, лет. Об умирании демонов, отживших свой срок, имеются многие легенды: в числе их на первом месте стоит анекдот о странной галлюцинации Фамуса, моряка, при Тиберии. Однажды, идя с кораблём в Ионическом море, Фамус услышал с острова Пароса неземной голос, зовущий его по имени. Когда Фамус откликнулся, голос повелел ему: «Доплыв до Палидеса, объяви, что скончался Великий Пан». В назначенном месте Фамус исполнил приказание, и, в ответ на его крик с корабля, на берегу раздались вопли и стенания, как бы от великой, но невидимой толпы. Происшествие наделало не мало шума в империи, и Тиберий назначил комиссию для его исследования. В Таренте показывали и чествовали могилу местного демона Гиацинта. Оракулы ослабевали или умолкали вовсе по мере того, как старели или умирали демоны, их одушевлявшие. Скончавшийся при Тиберии, демон лесной природы, Великий Пан был уже очень стар в эпоху Варрона Реатинского, когда тот писал, что дубравные оракулы оскудевают, и «страшный голос их не раздаётся более в лесах». В Азоне Лаконском Павсаний видел скелет «бога» Эскулапа Филолая – «чрезвычайно большой, однако же человеческий». Тот же Павсаний говорит о смертности Силенов, весёлых вакхических демонов из свиты Диониса, и помещает могилы их близ Пергама и в «земле евреев». Властов подозревает, что речь идёт о гробнице близ Раббы библейской Ога Васанского из рода Рефаимов, то есть демонических исполинов, предполагавшихся автохтонами палестинскими. С косматыми, козлоногими Силенами греческой мифологии палестинских исполинов сближает иудейское представление демонов пустыни «волосатыми»: мохнатый Азазел, пышноволосая Лилит, первая жена Адама и т. д. По весьма древнему сказанию о св. Павле Фивейском, св. Антоний, путешествуя к этому отшельнику пустынею Фиваидскою, встретил в дороге только центавра и сатира. Центавр молча указал Антонию тропу к пещере Павла, а сатир принёс страннику фиников и просил его от имени всех сатиров помолиться за них Христу, о пришествии которого в мир слух проник и в пустыню. Дикие песчаные степи, вообще, почитались как бы последними убежищами этого странного поколения, полубожественного, полузверского. Древние географы помещали таборы сатиров на склоны африканского Атласа. Путешественники уверяли, будто днём в знойном краю этом всё мёртво, как в могиле, не видать ни одного живого существа. Но, едва падёт ночь, леса сверкают множеством костров, слышны музыка, пение, кипит дикая вакханалия: сатиры и жрицы Дионисовы ведут свой пьяный хоровод. Сатир – живой символ знойной пустыни, легендарный обитатель её далёких оазисов. Когда пророк иудейский, грозя своим развращённым современникам гибелью их цветущих городов и грядущею «мерзостью запустения», хотел нарисовать ужас последней сильно и понятно каждому, он посулил, что на месте жилья человеческого поселится ночное привидение, и «лешие будут перекликаться по ночам».

Религиозное пристрастие к мощам, столь типичном для греческого народа в христианстве его в византийский период, было свойственно ему уже и в язычестве. Павсаний, в данном случае, неистощимый источник указаний. Он прикладывался к костям Тезея в Афинах, к мощам Гектора в Фивах, Ореста в Спарте, видел надгробный холм Медузы в Аргосе и т. д. Он знает все истории, почему какие-либо героические мощи очутились вдали от места жизни и деятельности святого героя, и какое демоническое заступничество которому из них свойственно, и какие достопамятные чудеса помощью их когда-либо свершились. Во времена христианской победы над империей, при фанатических императорах-арианах, языческое моще- и гробопоклонничество свершалось не без риска для усердных паломников. В высшей степени любопытен в этом отношении рассказ Юлиана Отступника о посещении им, ещё принцем, даже ещё не цезарем, памятников древнего Илиона. Чтобы получить право осмотреть языческие храмы, не возбуждая тем опасных подозрений в шпионах Констанция, Юлиан взял на себя роль любопытствующего археолога. Местный христианский епископ, по имени Пегас, предложил принцу сопровождать его и повёл к гробницам Гектора и Ахиллеса. «Там, – пишет Юлиан, – заметив, что огонь ещё тлеет на алтарях, так как его только что погасили, и статуя Гектора вся блестит от вылитых на неё благовоний, я сказал, пристально смотря на Пегаса: „Как, жители Илиона ещё приносят жертвы?“ Мне хотелось, не подавая вида, узнать его мнение. Он ответил: „Что же удивительного, что они почитают память великого человека, который был их соотечественником, подобно тому, как мы это делаем со своими мучениками?“» Затем Пегас показал Юлиану другие илионские святыни, прося его обратить внимание на их сохранность, и окончательно пленил принца необычною для христианина почтительностью к иноверным кумирам. Впоследствии этот Пегас откровенно возвратился к язычеству и был очень любим Юлианом, уже императором. Два христианина-притворщика, из которых один епископ, а другой будущий император, пред реликвиями язычества, которым оба выражают явную небрежность, питая к ним тайное благоговение, – какая картина может нагляднее изобразит религиозное настроение мира в двоеверном четвёртом веке? Другой пример, что священное любопытство к древности и её культам иногда брало верх даже над опасностью политической опалы, представляет путешествие по Египту цезаря Германика, совершённое вопреки воле императора Тиберия и к большому его неудовольствию. Наиболее внимания и почтения уделялось языческими паломниками героям Троянской войны. Призраки Гектора на развалинах Илиона и Ахилла на Скиросе, близ могильных холмов их, были довольно обыденными видениями множества античных суеверов; ещё чаще являлся Эскулап – в так называемых «инкубациях», посетителям своих храмов-лечебниц. Аполлоний Тианский имел с Ахиллесом самое дружеское свидание. Впрочем, демоническою властью оказываются облечёнными не только первенствующие воители Троянского похода, но и второстепенные его участники, и даже безымённые. В Темезе Сицилийской один из матросов Одиссея оскорбил девушку и был за то побит камнями. Одиссей отплыл, не отмстив за товарища. Тогда ларв матроса сделался бичом края, творя жителям, без разбора пола и возраста, всякие спиритические неприятности. Не зная, как отделаться от злого демона, темезцы уже думали было выселиться всем городом на другое место, но дельфийский оракул удержал их от эмиграции, а для успокоения «героя» рекомендовал построить ему храм. На служение матросу Одиссееву, в память об его распутстве, темезцы посвящали ежегодно жрицею любви красивейшую девушку города. Наконец в Темезу прибыл знаменитый кулачный боец Евфим. Он влюбился в одну из обречённых жриц, заперся в храме «героя», схватился с ним драться, победил его и загнал в море, после чего Темеза от него навсегда освободилась. Уже говорено о том, что, на конечном склоне языческой изящной литературы, в ней вошли в моду подложные мемуары разных лже-ахейцев и псевдотроянцев. Сказки эти были благочестиво перенесены и в средние века. Вильям Мальмсберийский говорит о найденной, будто бы в Риме, гробнице Эвандрова сына, Палласа, убитого Турном. В гробнице, украшенной латинскою эпитафией, пылала неугасимая лампада; труп юноши,

гигантских размеров, оказался совершенно свежим, с огромною раною, зияющею на груди. Вениамин Тудельский ухитрился найти в Риме мощи императора Веспасиана и его двора… Словом, не было конца ни легковерию средневековых путешественников, ни охоте их публики слушать басни, украшенные знакомыми историческими именами славной древности.

10

Охотно сказываясь в рукотворных изображениях, плодах человеческого искусства, демоны тем легче проявляли себя непосредственно в феноменах природы. Камнепоклоннические виды демонизма уже рассмотрены. Прибавлю к сказанному мистическое обыкновение носить драгоценные камни, посвящённые тому или другому знаку зодиака, в соответствии с месяцем года. Трудно указать древний народ, который не был бы знаком с этим обычаем, живучим и в наше время. В иудаизме двенадцать камней в нагруднике первосвященника (туммим) создали целое мистическое учение. Столько же уважения оказывали древние водным оракулам. Разумеется, далеко не каждый источник почитался способным на пророческие предсказания, хотя божественным предполагался каждый; но тем более почёта воздавалось способным. Храм Юпитера Клитумна в Сполето, воздвигнутый над подобным источником-вещуном, – по рассказу Плиния Младшего, – был весь увешан приношениями благодарных паломников. Излишне исчислять все чудеса и курьёзы, которые рассказывает о водных святых местах Павсаний. Следует заметить, однако, что сам он не выставляет себя очевидцем сверхъестественных способностей тех или иных вод, а о многих добросовестно свидетельствует, что они были оракулами в старину, но потом потеряли предвещательную и целебную силу, – обыкновенно, чрез какое-либо нечестие человеческое. Так, один источник, позволявший верующим видеть в нём отсутствующих мореплавателей, утратил свою способность после того, как баба какая-то вымыла в нём грязную рубаху. В некоторых источниках оракул давался при посредстве зеркала, опускаемого в воду таким образом, что толща стекла уходила в воду, а над водою оставалась только отражающая поверхность. Наблюдение за этою блестящею точкою вскоре показывало верующему тех, о ком он вопрошал, больными или здоровыми. Это похоже на современные гипнотические опыты. Ничто не ново под луною, и явления гипнотизма, медиумизма, мантевизма помогали древним магам одурять свою языческую публику с не меньшим успехом и совершенством, чем сейчас Самборы и Комп. морочат ими добрых христиан. Что касается лечения гипнотическими внушениями, то едва ли оно не было возведено жрецами Эскулапа в научную систему: по крайней мере, то таинственное лечение, что называлось инкубацией и состояло в богомольном ожидании, чтобы бог сам пришёл к больному в сонном видении и возвестил. какие лекарства ему потребны, – несомненно, родственно сомнамбулическому наведению, часто и успешно практикуемому в современных невропатологических клиниках. Из Кастальского источника в роще Дафны, при храме Аполлона близ Антиохии, вытекал поток пророчеств, соперничавших по своей достоверности с предсказаниями Дельфийского оракула. Император Адриан прочёл предсказание своей счастливой будущности на листочке, вынутом из этого ключа, фокус не особенно мудрёный, ибо «симпатические чернила» были хорошо известны древности. Адриан закрыл источник столь опасных знаний, но он был снова открыт покровителем язычества Юлианом Отступником. Однако, судя по насмешкам св. Григория Назианзина, попытка Юлиана кончилась полною неудачею, и Кастальский ключ, разливаясь при храме, оскудевшем братией, не восстановил своей былой славы: в павшем антиохийском язычестве уже не нашлось достаточно умного и ловкого мистика-предсказателя, который мог бы принять на себя вдохновенную роль оракула, соперничая с тут же, в храмовой ограде положенными, христианскими мощами св. Вавилы. Известно, как грозно разыгралась антиохийская конкуренция культов Аполлона и св. Вавилы: Юлиан приказал перенести мощи христианского мученика с храмовых земель Аполлона на другое кладбище; христиане в отместку сожгли храм Аполлона; последовали мятеж, жестокий розыск и даже казни.

В иных местах вещая сила работала сразу через воду и через огонь. В Вифинии, по рассказу Плиния, брызжет пламенный каскад, служащий для испытания преступников, так как он никогда не коснётся грешного. О подобном же испытании клятвопреступников в Сици-

лии сообщают Аристотель и Макробий: заподозренных опускали в один из кратеров вулкана, возвышающийся над горячим источником. Вообще же, как ни странно, огнедышащие горы, которые оставили столько впечатлений в фантазии древнейших европейцев в теологическом первоначале, когда зачинались и слагались их мифологии, весьма мало влияли на воображение исторических потомков их, когда развивалось демоническое мировоззрение и возобладал демонический культ. Мифы, связанные с катастрофами Везувия, Этны, Липарских островов, – до-гомерического и гомерического происхождения. Они не подновлялись. Любопытно, что даже средневековое суеверие и невежество не искали каких-либо особенных чудес в этой области, казалось бы, столько соблазнительной уже по наглядной своей декоративности. Самая грозная средневековая легенда вулканического характера – измышление папы Григория Великого, – будто жерло Стромболи – уголок адского пекла, в котором дьяволы денно и нощно забавляются душою Теодориха Великого. Автор этого этюда провёл в неаполитанском краю столько дней своей жизни, что вправе считать его как бы второю родиною. Полудикие, фанатически и фантастически настроенные, склонные каждый уголок земли своей населять святыми и чертями, крестьяне окрестностей Везувия очень скупы на мифы только об этом, вечною угрозою курящемся, роковом властелине их края. Вулкан для них – дело домашнее, естественное. «Этна» – старая поэма неизвестного латинского стихотворца, по всей вероятности, Люцилия Юниора, прославленного перепискою с Сенекою, – также чужда фантастического элемента. Можно думать, что, сохранённые латинскою литературою, частые сравнения многих вулканических окрестностей Неаполя с мифологическими пропастями ада (флегрейские поля, Ахеронское болото и т. п.) – не более, как вошедшие в литературную моду, поэтические метафоры, а вовсе не указания на древние народные верования. Огнедышащая гора поражала своею необычностью взгляд чужеземца: неудивительно, поэтому, что слухи о Везувии, дойдя до ионических гусляров, удивили их настолько, что они заглазно решили его адский характер и поместили сход в ад в пещеры Аверна, от чего впоследствии не дерзнул отступить и Вергилий. Естественно также было, как рисует это Ренан, мистически настроенному иудею, когда он высаживался на берег после долгого плавания, в Путеолах, прежде всего суеверно изумиться дыму Везувия, Сольфатаре, дымным серным источникам, истекающим из «горы металлов». Впечатления эти, если не в рассказах самих очевидцев, то лиц, слышавших таковых, отразились в апокалипсисах лже-Еноховом и Иоанновом. Но латинская раса и обжившийся среди её сынов graeculi Партенопеи в это время очень спокойно пользовались мнимо адскими водами для мирных бальнеологических целей, далёкие от мысли приписывать им силы сверхъестественные. Великие вулканические катастрофы итальянских гор, включая сюда и знаменитое извержение 79 года, когда погибли Помпеи, Геркуланум и Стабия, оставили по себе очень мало воспоминаний, притом далеко не фантастических. Описание извержения Везувия в сочинениях Плиния Младшего – самое рассудочное. В 1901 году я записал на о. Искии несколько интересных преданий, живущих в местном населении, но ни одно из них не было связано с последним ужасным несчастьем острова, с землетрясением, которым так недавно старый Эпомео разрушил Казамиччиолу. Самым чудесным эпизодом этого последнего события рассказываются приключения одной извозчичьей лошади, которая, вероятно, почуяла землетрясение за какую-нибудь секунду до его начала: как стояла в упряжи, – прыжком через широкий ров, – она перенесла своего хозяина на площадь, – и в ту же минуту рухнул дом, у стены которого они оба пред тем дремали. Легенд о вулканическом уголке Италии тысячи, но – всё наносные, сочинённые, при том, по преимуществу, северными путешественниками и писателями. Некоторые вошли в народ, но проследить их искусственное происхождение очень нетрудно. Вышедших же из народа я не знаю ни одной.

Таким образом, можно поставить к доказательству гипотезу, что вулканы, как мотивы к представлениям демонически-религиозным, действуют гораздо сильнее на тех, кто их редко видит или только о них слышит, чем на постоянных очевидцев их деятельности. Если для грека

из Эллады или иудея из Палестины дым Везувия, Сольфатара, озеро Аверна заслоняли мифологическими представлениями прелесть Неаполитанского залива, то италиец даже и не замечал этих привычных страхов природы: так заслоняла их от него земельная тучность плодородной Кампании, роскошные рыбные ловли, весёлые Байи, торговые Путеолы, розы Пестума, виноград Фалерна и т. д. Греки, заселяя Балканский полуостров, застали вулканическую работу на нём уже почти конченною. Но следы её были свежи: минеральные источники, курящиеся пещеры, провалы остывших и заполненных озёрами кратеров и т. п. Всё это должно было сильно действовать на воображение новосёлов: они чувствовали близ себя великую силу природную, но не столь реально ясную в своих действиях и происхождении, как на берегах Сицилии и Неаполя, – о подземном огне греку надо было больше догадываться, а догадываться для грека значило художественно творить. Эллинскому уму всегда нужен и дорог антропоморфический миф, положительный ум италийца легко довольствуется рассудочными объяснениями и сухими символами. Поэтому в любой вулканической трещине Балканского полуострова погребено демонических легенд и преданий больше, чем во всех жерлах Апеннинской системы. В древней Греции и Малой Азии было множество вулканических уголков, носивших грозные имена «врат адских», «Хароновых», «Плутоновых». Большинство таких пещер слыли оракулами. Газы, в них развивавшиеся, одуряя головы поклонников, содействовали пророческим экстазам, – активно в самом оракуле, который говорил устами вдохновенного жреца или жрицы, пассивно в слушателях, которых одурение или повергало в состояние обморочного сна, или приводило в восторг и заставляло принимать всё, что они слышали, на веру, как возвышенную божественную мудрость. Прибавьте к этому суеверное самовнушение. Об одном из таких «плутониев», пещере Кибелы при знаменитом храме её в Гиерополисе Фригийском, мы имеем свидетельство от Дамасция, философа конца пятого века, исследовавшего древнее святилище сто лет спустя после того, как оно было совершенно оставлено и заброшено. Дамасций обошёл обширные подземелья не без опасности для жизни, однако, счастливо выбрался. Любопытно, что, когда он, после своих подземных путешествий, лёг отдохнуть, то увидал себя во сне Аттисом, любовником Кибелы, председящим на гилариях, фригийском празднестве, которое справлялось в его честь. Мори, передавая этот случай, видит в нём весьма замечательный пример самовнушенного сновидения. Трофониева пещера, Дельфийский оракул, Ливадийское святилище – всё равно преследовали цель экзальтировать своих паломников до галлюцинаций газами, после подготовки к экстазу тяжёлым постом. Быть может, небезосновательна догадка Мори, что нимфы, которыми населяло ливадийские утёсы суеверие греков, если не существовали, как реальный предмет, то могли существовать, как представление: были призраками расстроенного воображения богомольных галлюцинатов, подготовленных к видениям, сообразным с их верованиями и ожиданиями, так же, как знаменитый Старец Горы подготовлял своих ассасинов к Магометову раю пилюлями из гашиша. К галлюцинациям наркотического и постнического экстаза надо, конечно, отнести и знаменитую инкубацию: пророческие сновидения в храмах Эскулапа, Аполлона, Изиды, Сераписа и других сильных покровителей здоровья человеческого. С победою христианства инкубация не сразу умерла, но была перенесена в некоторые храмы нового культа, – напр., в Константинопольский храм св. Михаила Архангела, воздвигнутый на месте языческого, где инкубационные откровения давал ранее Аполлон. Пример инкубации в иудаизме даёт известная евангельская история о Силоамской купели.

Сновидение и удивление к нему – начало демонической религии, попытка управлять сновидением – начало магии. Известно, что сновидения подали человеку мысль о божественных существах и, в особенности, помогли ему обосновать, развить и упрочить культ усопших. Поэтому, жреческая наука о сновидениях параллельна этому культу, от него зависима, из него истекает и в него обратно впадает. Могилы великих античных прорицателей – Амфиарая, Амфилоха, Калхаса, Мопса – остаются вещими и по смерти пророков. Обычай спать на могиле мудреца, чтобы получить от него пророческое сновидение, распространялся в древнем мире

от кельтов до Ливии, от Палестины до Иберии. Вещие сны – наслание манов, святых умерших душ. Следовательно, для того, чтобы иметь более или менее регулярные пророческие сновидения, надо ублажать известным ритуалом святые усопшие души. Если они подательницы благих сновидений, то лемуры и ларвы наводят страх на душу, мутят ум безобразными призраками, исступляют дух, давят кошмарами сонного (эфиальты), делают бесноватым бодрствующего. В связи с этим убеждением, – что помешанный жертва злого покойника, – объясняется старый обычай предоставлять сумасшедшим для жительства кладбища; на востоке гробовые места служат приютом для безумцев ещё и в наше время. Евангельские бесноватые тоже жили в гробах. Не буду касаться здесь вопроса об одержимости злым духом, так как физиологическое и психологическое значение его давно уже и многократно выяснено невропатологами, которые законно отняли этот вопрос у богословов и историков, и нового к исследованиям их прибавить нечего. Таинства гипнотизма и магнетических токов, ныне усердно исследуемые и получающие всё более широкий и важный смысл в жизни человеческой, несомненно дадут ключи ко многим подробностям античной магии и мистики, ныне ещё тёмным. Разумеется, сказать, что то или другое чудо совершилось чрез гипнотическое внушение, ещё не значит ответить на вопрос, как оно совершилось, потому что гипотетична покуда самая сила, действующая в гипнотическом внушении. Но, по крайней мере, это указывает нам, в каком направлении должны взять путь наши исследования, чтобы тайное рано или поздно стало явным. Из многочисленных проявлений демонических чрез феномены живой природы следовало бы подробно заняться культами древнепоклонническим и змеепоклонническим. Но темы эти – уже скорее мифологические, чем демонологические, да сверх того обзор первой из них гораздо ярче и доказательнее, чем через верования античные, может быть исполнен чрез мифологии славянскую и германскую, которые не подлежат рассмотрению в этом этюде, как факторы миросозерцания уже средневекового.